

# От полудня до полуночи

**Автор:**

Эрих Мария Ремарк

От полудня до полуночи

Эрих Мария Ремарк

Зарубежная классика (АСТ)

Далеко не все почитатели Ремарка знают, что помимо крупной прозы, принесшей ему мировую известность, он мастерски писал и короткие произведения. Именно с них начался путь Ремарка в большой литературе, именно в них уже прослеживаются идеи и блестящий стиль будущего выдающегося писателя.

В данном сборнике представлены ранние лирические рассказы, отдающие несвойственной автору наивностью, и филигранные эссе о любви, меланхолии и невозможности настоящего понимания между людьми.

Эрих Мария Ремарк

От полудня до полуночи

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1998

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne/Germany, 1998

© Перевод. Е. Зись, 2011

© Перевод. Е. Михелевич, наследники, 2011

© Перевод. И. Шрайбер, наследники, 2014

© Перевод. В. Бабенко, 2020

© Перевод. О. Постникова, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

## Рассказы

О радостях и тяготах югендвера [1 - © Перевод. Е. Зись, 2011.][2 - Югендвер – молодежная военизированная организация в Германии начала XX в. – Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примеч. пер.]

Лучше всего о югендвере можно рассказать, лишь изобразив один из дней, вобравший в себя все радости и тяготы нашей тогдашней жизни! Такие дни бывают редко, но бывают. Вот и у нас выпал такой день, ясный зимний день.

Сквозь серые рваные облака на белую замерзшую землю светило солнце. Нас собрали по отделениям перед спортивным залом. Стоял жестокий мороз, и облачка пара от нашего дыхания поднимались в воздух. Нам предстоял учебный бой с другой ротой. Они захватили железнодорожную линию и заняли лежащий неподалеку лес. Пока они выдвигались туда, мы прошли маршем к Неттерхайде, большому плацу, чтобы заняться строевой подготовкой. На марше я очень замерз, да и остальные, наверное, тоже. Бежать! Бежать! Быстрее двигаться! Этому желанию суждено было исполниться. На плацу отрабатывались отдельные элементы строя. Мы поворачивались направо и налево, маршировали, бегали, и это было приятно. Наша одежда не защищала от холодного, пронизывающего ветра, но постепенно мы согрелись. Не то чтобы вся эта муштра, повороты и прочее сразу воодушевили нас. Раньше бывало, что перед предстоящим боем нам совсем не хотелось тренироваться. И все же я каждый раз замечал, что спустя какое-то время мрачные физиономии становились

веселее, глаза сияли. Вероятно, это происходило от ощущения физической силы, которое появляется при усиленной маршировке на свежем воздухе. На этот раз все было иначе. Мы радовались предстоящему бою и потому тренировались усерднее, чем когда-либо. Поначалу мы были очень недовольны, что нам запрещалось разговаривать. Прошло много времени, прежде чем мы привыкли и к этому. Но когда вот так идешь и бежишь, когда все мышцы напряжены, о разговорах не думаешь, а маршируешь так, что из-под ног летят комья грязи; бежишь так, что в груди хрипит и дыхание вырывается короткими толчками; чувствуешь силу от того, что в тебе снова рождается упорство древних германских титанов; упорство, с которым, надеясь только на себя, уничтожают мир и создают его заново.

Но слышишь? Сбор! Сбор! Уже так поздно? В самом деле! Как быстро бежит время. Спешно формируется колонна для марша, и рота выступает к месту боя. Там и сям слышны радостные голоса; то один, то другой раскуривает трубочку. Становится заметно, что нас муштровали. Вон двое сцепились по-дружески и пытаются повалить друг друга, стараясь не привлечь к себе особого внимания. А там кто-то кидается снежками. Повсюду царят воодушевление и сила. Невозможно выразить, как приятно после пятичасового сидения за партами наконец-то от души побеситься (в хорошем смысле слова). Мы идем все дальше и дальше. Возникают далекие вершины, тонущие в голубой дымке, леса приближаются. Повсюду лежит снег, глубокий, пушистый, белый снег. Какие роскошные виды, какие прекрасные, гармоничные, яркие картины открывались нам во время этих маршей! Над нами светло-синее небо, бледная луна в первой четверти, дальше на западе, между темными деревьями, – нежная вечерняя заря, прорезанная горизонтальными облаками глубокого пурпурного цвета, а под ними – заснеженные деревни; сердце раскрывается навстречу такому пейзажу.

Мы вступаем в темный лес. Раздается приглушенная команда остановиться. Высылаются патрули. Я – командир патруля на левом фланге. Вначале мы быстро продвигаемся вперед, ориентируясь по карте. Но постепенно темп замедляется, и мы двигаемся с большими остановками, ступая очень осторожно. Кругом тихо, бесконечно тихо. Откуда-то очень издалека доносятся удары топора. Становится все темнее.

– Тсс!.. Зиберт?

– Что?

- Ты где?

- Здесь! Ты не слышишь?

- Тсс... Замолчите.

Затаив дыхание, мы стоим, открыв рты, прислушиваемся и пытаемся что-нибудь разглядеть в темноте. Меж деревьев таинственно скользят тени, длинные, призрачные. Вот! Кхх!

- Тсс!

- Тихо!

Только ветер меланхолично насвистывает, целуя листья одинокой ивы у темного пруда.

- Вот!.. Опять.

- Шшш!

В лихорадочном возбуждении я стою, прислонившись к стволу дуба, впиваюсь глазами в темноту; вот снова - кхх! Он приближается. Господи, где же остальные? Я что, совсем один? Где они? Я их больше не вижу, а тут совсем рядом снова трещит ветка... Неистовый порыв ветра сотрясает вершины деревьев. Может, мне показалось? Нет, вот опять, опять... А вон там - не отделилась ли от темного дерева фигура? Да! Тень приближается. Я берусь за свой пробочный пистолет и, дрожа от волнения, вжимаюсь в ствол. Ближе и ближе... Я хочу что-то крикнуть, но горло перехватило, на лбу выступил пот, я прыгаю вперед, издаю хриплый звук - и оказываюсь перед изумленно уставившейся на меня старушкой. Мною овладевает непонятная слабость, мне приходится прислониться к дереву. Потихоньку начинает идти снег. Старушка, старушка, ну и потрепала ты мне нервы! При патрулировании я всегда охвачен таким волнением. Мои товарищи рассказывают о себе то же самое, но ни один не отказался бы еще и еще раз испытать это.

Снег все идет. Подходят остальные. Дальше. Шаг за шагом мы скользим вперед, все время прислушиваясь и поминутно останавливаясь. Наконец впереди светлеет: мы дошли до опушки. Теперь мы крадемся очень осторожно и смотрим во все глаза. Перед нами раскинулся луг, за ним – лес. Но тут, на опушке... Господи, неужели обман зрения?.. Я широко открываю глаза... Да тут они кишмя кишат!.. Красный флаг, синий... Господи... надо срочно послать донесение, да, донесение. Одного отправляю назад. Мы продолжаем наблюдать. Тут на другой стороне начинается движение. Два, нет, три человека идут через луг к нашему укрытию. Неужели они нас заметили? Не может быть! Назад, ребята, быстро назад! Этим троим мальчишек мы легко схватим!

- Нагни голову, приятель, тебя же увидят!

- Здесь, в лесу, для этого слишком темно.

Как мы успокоились и обрадовались! Не то что до этого, в лесу! Вот они. Еще пять шагов, еще три, еще два, еще...

- Стоять!

Мы вскакиваем и бросаемся на них. Как они пугаются! Хороший улов! Но теперь надо возвращаться. В шесть часов мы должны быть в части. Идем потихоньку назад, забрав пленных с собой. Тут в лесу начинается движение: кто-то тихо, как кошка, крадется, подползает все ближе и ближе, пробирается сквозь кустарник. Наши! Мы рванули к ним. С дистанцией в два шага мы снова движемся к опушке леса. В одной руке держу пробочный пистолет, другой отодвигаю ветки кустарника. И вот мы на опушке, лицом к лицу с неприятелем. Огонь! Команда гремит над деревьями, разносится по тихой долине. Дальше! Дальше! Все пылают от нетерпения, только железная дисциплина сдерживает нас. Наконец-то!

- Отделение Вайдеманна, встать, вперед, марш!

Все наше нетерпение и напряжение вспыхивают еще раз и выливаются в невероятный жуткий крик, с которым мы несемся через луг. Хлюп! – это я одной ногой угодил в болотце.

- Ложись!

Шлеп! Кто-то от возбуждения не заметил лужу и плюхнулся, растянувшись во весь рост. Ничего, дальше! Слышишь, вот и сигнал! Штурм! Все устремляются вперед, крича, стреляя, хлопая в ладоши. От оглушительного шума даже старые деревья-великаны испуганно трясут седыми головами.

– Сбор!

Разгоряченные, тяжело дыша, мы строимся на лугу. Нас хвалят за старание и рвение и порицают за необузданность. Солдат должен сохранять спокойствие.

Потом нас снова отправили на тракт.

– Посмотри, во что превратился мой костюм, – жалуется один.

– А мои ботинки!

– У меня обувь полна воды, – отзывается третий и пытается вылить влагу из своих ботинок.

– У меня все болит.

– У меня тоже. Но все равно было здорово.

– Да, замечательно!

С этим согласны все.

– Давайте споем!

– Да, да, про птичек в лесу!

Когда мы двинулись назад, уже стемнело. Высоко в небе серебряные островки света бредут своим путем в бесконечную космическую даль. Луна награждает темные облака серебристыми кантами и поверх сонно шумящих лесов льет струи света на далекие высоты, окутанные бесконечно нежной серебристой дымкой. Издалека доносится пение возвращающихся солдат:

Птички в лесу

Так дивно поют:

На родине, на родине

Мы встретимся опять!

1916

Час освобождения [З - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Сирень пахла так сильно! Лунный свет озарял стены таким тоскливым серебристым светом! И опять она думала о нем. Где-то далеко в поле его поглотила рычащая битва, где-то его похоронили год тому назад... Тогда она как раз пошла в сад в его любимом белом платье, она хотела нарезать свежих роз, чтобы положить к его портрету; и тут услышала эту новость. Не в силах совладать с безымянной болью, она молча и без слез срезала вместо роз темный плющ и отнесла к его фотографии. Потому что он умер...

Ночной ветер овевал ее ароматом сирени. Несколько лепестков упали на черное платье.

- Умереть, - произнесла она потерянно, - умереть. - И крупные слезы невольно потекли из глаз.

Она пыталась думать о нем и с болью чувствовала, что его лицо с каждым днем все больше блекнет и отдаляется, жизнь лишена смысла - и потому тосклива. Резкая боль пронзила душу, когда она поняла это. Она опустила голову на щербатый каменный стол и стала сбивчиво говорить о любви и тоске. Она звала назад ушедшие дни, когда их души сливались в одну, когда они вместе бродили по полям, над которыми кружились жаворонки; по нивам, пламеневшим маками; по лесам, где было полно кустов ветреницы, а перед маленьким домиком, утопавшим в зелени, он рассуждал об их счастливом будущем.

– О ты, синяя летняя ночь, – произнесла она, – почему ты вызываешь во мне такую тоску? Неужели я никогда не найду покоя?..

Она резко обернулась. Ей показалось, будто кто-то шепчет за спиной.

– Это ночь, – сказала она. – Ночь. Ночь живет... своей собственной жизнью... Природа не мертва... все живет – камни, звезды, тишина...

Она испуганно умолкла. Откуда эти слова, которые, забывшись, она произнесла так громко?

Потом в ее памяти всплыл тот далекий вечер, когда они допоздна сидели вдвоем и говорили о Тристане и Изольде. Именно тогда он произнес эти слова о людях и матери-природе, говорил, что все не вечно и одновременно все бессмертно. Что жизнь – цветение природы, а умирание – отдых перед новой жизнью. Он говорил и о смерти – что она не разрушительница, а тихая подруга – мать, которая укладывает спать своего уставшего ребенка, чтобы снова разбудить его утром.

Сердце переполнилось чем-то невыразимым. Она встала.

– Да, – проговорила она каким-то странным, чужим голосом, – жизнь, смерть – все едино!

Потом, не чувствуя под собою ног, она пошла в дом по залитым лунным светом тропинкам. Не осознавая, что делает, она скинула темное траурное платье, надела белый наряд, который он так любил, и распустила волосы. Вернулась в сад. Гроздь сирени касалась ее лба. Она подняла руки, так что широкие рукава опустились на плечи, и ломала ветки с душистыми цветами, еще и еще, пока весь каменный стол не покрылся пахучей сиренью. Лунный свет дрожал на ее волосах, скользил по цветам, ночь была сказочно синей и волшебной глубокой. Она была как пришельца из другого мира, словно перестала быть человеком, породнилась с деревьями и цветами. Она ощущала близость звезд, и синее ночное небо целовало ей лоб. Трепет от присутствия Божественного пронизал ее, и на мгновение она прикрыла глаза. Все деревья казались ей старыми знакомыми, все звезды – родными, природа была ею, а она – природой.

Тогда она подняла руки и заговорила глубоким, звонким голосом, не понимая своих слов:



– Природа! Мать и сестра! Тоска и осуществление! Жизнь! Блеск полуночных солнц, сияние дневных звезд! Смерть! Ты, синева! О, глубина! Темный бархат на светлых одеждах! Ты, жизнь, – и есть смерть! Ты, смерть, – и есть жизнь! Все – природа! Я – это не я! Я – куст, дерево! Ветер и волна! Шторм и штиль! И во мне кровь миров! Эти звезды во мне! Часть меня! А я – в звездах! Часть звезд! Я – жизнь! Я – смерть! Я – космос! Я – ты!

Лунный свет серебрился на ее волосах. Она замолчала. Казалось, сама ночь, сотканная из света и тьмы, шептала: «Я – это ты!»

Она опустила голову. И вдруг осознала только что произнесенные слова.

– Я – это ты, – повторила она очень тихо, словно про себя. – Освобождение! – Она положила руки на цветы. Отрешенно повторила еще раз: – Освобождение! Да, ты не умер. Ты живешь... я – это ты... ты живешь во мне, в мире, в природе, в космосе... Мы вечно будем едины: я – это ты!..

Потом она опустилась на колени, аккуратно и нежно подняла веточку плюща с земли.

– Слышишь? Это ты. Я целую тебя! – Она дотронулась розовыми губами до прохладной веточки.

Она поднялась с колен и склонилась над розой.

– Слышишь? Я люблю тебя, – произнесла она умиротворенно и ласково. Прислонилась лбом к дереву. – А вот и ты, – прошептала она, ласково улыбаясь.

Она взглянула на синее ночное небо. Серебристый лунный свет струился ей прямо в глаза. И она сказала нежным и тихим голосом:

– Освобождение... Примирение... Ты, мой любимый, не умер... Я больше не буду терять тебя каждый день... Не только по ночам ты будешь со мной... Ты навсегда мой... Ты во всем мой... Я – это ты... Я – это ты... ты...

Потом она повернулась и снова пошла по залитым лунным светом тропинкам. Ее лицо было светло и благостно, ее глаза излучали блаженство, как в тот день,

когда он впервые поцеловал ее...

Сирень пахла сильно и сладко...

Где-то в саду пел соловей...

1919

Женщина с золотыми глазами [4 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

В проходы маленького уютного театра медленно лился поток зрителей из дверей лож, продвигался вперед, разделялся: одна часть направлялась в подвальчик, другая устремлялась в фойе. Слышалась приглушенная речь, почти шепот, мягкие сумерки, над которыми время от времени раздавался серебристый девичий смех. Девичий смех.

Ах, снова старая боль заняла в моей груди, и воспоминание заставило кровоточить старые раны. Разочарования остудили мою душу. Теперь я хотел найти забвение в театре – на постановке первой части бессмертного «Фауста». Но когда Гретхен подняла пленительно-прекрасные глаза и так загадочно-женственно взглянула на потерявшего покой героя, я невольно сравнил былое со спектаклем, и горькая правда овладела мною: «То была лживая жизнь, это – лживый спектакль».

Мои мрачные мысли прервал женский голос, он был как матовое золото, освещенное вечерним солнцем. Я поднял голову и посмотрел – прямо в золотисто-карие глаза.

Мое сердце остановилось.

Эти глаза...

В юности летними вечерами я любил сидеть на балконе и смотреть на погружавшийся в темноту лес. А когда бурление и волнение в моей крови становились слишком сильными, я часто возвращался в круг света от красноватой лампы, ложился на софу и читал «Вертера» – о любви, только о любви.

Потом, бывало, я отбрасывал книгу, вскакивал, раскидывал в стороны руки и горящими глазами всматривался в ночь. И тогда из сумерек и тоски, из юношеских мечтаний медленно возникал женский образ – хозяйки моей души, прекрасной и доброй, с обворожительными золотистыми глазами.

Теперь я увидел именно эти глаза.

Я провел рукой по лбу и начал пробираться к ней. Но тут прозвенел звонок, и мне пришлось вернуться на свое место, так и не увидев больше самых прекрасных глаз на свете.

На сцене в фиолетовых и серебристо-красных тонах безумствовала Вальпургиева ночь. На авансцене в ярком свете прожектора танцевали две ведьмы. В зрительный зал со сцены струилось бледное сияние. Чуть впереди в темноте угадывался профиль, увенчанный тяжелым узлом волос. В уголке глаза мерцал серебристый огонек. Она повернулась ко мне, словно подчинившись неизвестной силе. Я узнал ее: мои глаза, глаза, которые я так часто видел во сне, которые я только что искал! Я совершенно погрузился в эти глаза, я смотрел в них долго, пока женщина не отвернулась. Мне показалось, что она слегка кивнула.

Закончилась сцена в тюрьме, и театр опустел. Я стоял у выхода и ждал. Я вел себя безнадежно глупо, мечтая еще раз увидеть эти золотисто-карие глаза. Я обзывал себя дураком и мальчишкой и все-таки продолжал стоять. Театр был уже почти пуст, лишь изредка выходили припозднившиеся зрители. Вдруг та, которую я ждал, показалась в проеме двери и начала медленно спускаться по лестнице. Мне показалось, что ступени у нее под ногами усыпаны розами. Она увидела меня – и замерла на мгновение. Я бессознательно сделал шаг вперед – она заглянула мне в глаза, взяла за руку и сказала своим красивым голосом:

– Идем домой.

Я был словно околдован и шел, не сознавая, что иду. В моей душе пели нежные скрипки, которые *con sordino* снова и снова повторяли: идем домой... идем домой. И ликовали: идем домой... идем домой. И рыдали: идем домой... идем домой...

Только оказавшись в такой же беде, испытывая такую же муку, находясь в таком же разладе с собственным «я», можно понять, что чувствует бездомный, сбившийся с пути человек, когда женские глаза смотрят на него и чудный голос произносит: «Идем домой».

Когда я шел по Кёнигс-аллее, мне казалось, что я попал в сказку. Каштаны волшебным образом шелестели кронами, словно хотели навеять в мою растерянную душу мир и покой, словно и они говорили: «Идем домой»...

Я тихонько сжал пальцы, лежавшие в моей руке, почти не веря, что это наяву. Я почувствовал мягкую округлость ладони; да, то, что я переживал, было на самом деле! И тут мое сердце забыло всю робость и скованность, все двери моей души распахнулись навстречу синей звездной ночи и тому чуду, которое ждало меня впереди.

Мы оказались в пригороде. Сады слабо мерцали и благоухали во тьме. Скрипел гравий. От греческих колонн исходил свет. В прихожей едва теплилась висючая лампа. Звякнул ключ. Я был как в сказке. Краткий миг нерешительности – золотистые глаза глубоко, почти испытующе заглянули мне в душу. Я приподнял кисть ее руки и прижал к ней свое пылающее лицо. Она тихо высвободила руку. Щелчок замка. Из-за двери вырвалась синяя тьма. И силуэт ее изящной фигуры окунулся во мрак комнаты, она повернула ко мне голову. На ее лице, казавшемся неясным светлым пятном, глаза темнели, как грустные цветы.

Внезапно у меня все поплыло перед глазами. Я словно тонул в бурных морских волнах, сражаясь с ночью и смертью. Вдруг милосердный свет маяка приветливо сверкнул мне сквозь бурю и страх и указал путь к спасению. В одно мгновение дни мучений и годы тоски пронесли мимо меня и исчезли. Что-то очень сильное стеснило мне сердце, что-то безымянное переполнило грудь, что-то невыразимое захлестнуло душу, я судорожно сжал руки, поднял голову, я одновременно рыдал, кричал, шептал: «Я дома!» – и, шатаясь, переступил порог.

В бронзовых канделябрах горели свечи. Ковры приглушали звук шагов. Ступени сияли, перила поблескивали. Открылась дверь, я сделал несколько шагов и оказался один в комнате, бывшей, очевидно, музыкальным салоном. В углах таились синие тени, в больших окнах брезжила звездная ночь, на темно-красном фоне четко вырисовывался бюст Бетховена из слоновой кости, увенчанный лавровым венком; казалось, он приветливо смотрит на меня. Через огромные окна струился призрачный серебристый свет звезд, он скользил по комнате и освещал белые клавиши рояля. Казалось, магическая сила влекла меня к инструменту. Я нерешительно сел и ударил по клавише.

Медленно и глубоко прозвучало до-диез.

Словно тихий рокот раздался в ночи.

Я едва осознавал, что делаю. Какая-то сила заставила меня зажечь свечи на рояле. Я снова взял до-диез и, дав ему утихнуть, медленно извлек ноту на две октавы ниже.

Я просто не мог иначе.

Медленно переливались триоли, словно лунный свет по серебристой воде. Божественное до-диез минор «Лунной сонаты» под моими пальцами рождало словно сотканное из лунного света, сумерек и мечты *adagio sostenuto*. Словно темный челн по серебристому потоку, скользила тема по россыпям триолей. Вот она снова появилась в ми миноре, теперь суровая и тихая. И, как тоскливый крик летящих над осенними прудами диких уток, пронзительно звучало задержание си в до над басами ми минора, на секунду пропало после си мажора, а потом снова зазвучало, рассыпаясь дождем арпеджио; тоска, бесконечная тоска темным покрывалом расстилалась над серебристыми водами, пока постепенно темные басы не перехватили мотив, а его эхо, доносившееся откуда-то из глубины, сопровождали мягкие переливчатые аккорды.

Му?ка!

Я механически продолжал играть. Помрачнев, я поднял глаза. Да, я одинок и покинут; как это трудно – быть человеком.

Отодвинулась портьера. Нежно и бесшумно. Вошла королева. Аромат роз. Мне почудилось, что комнаты расширяются и растут. Колонны, купола и своды становятся все выше и выше. Звездная ночь, космос, тишина! Я был один во тьме Вселенной, мои дрожащие руки рвали арфу: моя му?ка! Му?ка!

Сквозь вселенскую тьму забрезжил сладостный свет. Блестели золотые глаза. Наступило избавление. Забывшись, я откинул голову. Серебряный свет падал на мое печальное, встревоженное лицо. Два золотистых глаза смотрели на меня бесконечно нежно, и прекрасные губы целовали мои нечестивые глаза и горячий лоб... Я больше ничего не видел и не слышал, пурпурная тьма окружила меня, вся боль и печаль исчезли; броня, сковавшая мое сердце, рассыпалась, ледяная пустыня души зазеленела; после долгих лет отчаяния и мук я снова почувствовал себя ребенком на вечерней молитве: мне хотелось сложить ладони и шептать: «О, ты прекрасна, жизнь, ты чудесна, жизнь, о, жизнь, я люблю тебя!»

Очнувшись от безмолвия и забвения, я вскочил, прижимая руки к лицу. Потом глубоко вздохнул и испуганно открыл глаза. Нет, это не иллюзия, не обман чувств и не сон; это правда, передо мной стояла прекрасная женщина с бесконечно глубокими золотыми глазами.

Видение потрясло меня.

Ах, если бы это ощущение безмятежности и покоя не исчезало!

По моим волосам скользнула рука, раздался чудный голос, от которого я задрожал, и мне показалось, будто вечернее солнце играет на матовом золоте:

– Ну, мятежный буревестник, ты наконец-то нашел свой дом? Да, ты дома, пусть теперь шумят волны – за синими горами тебя будет ждать тихий дом...

О, этот чистый, певучий голос!

Я впитывал каждое слово, как увядающий цветок впитывает живительную влагу вечерней росы. Как тоскливо и заботливо она сказала это: «За синими горами тебя будет ждать тихий дом...»

Во мне словно зазвучали колокола, но они призывали не к борьбе и исканиям, а к мирной и спокойной жизни.

Мы тонули в пурпурном упоении, ощущая близость земли и блаженство звезд. Я поднял темно-красную ленту, которую ты обронила во время танца, и снова повязал ее на твоей груди, на твоей и моей груди, обернул нас ею, связав наши сердца навечно! Навечно!

Навечно...

Ты покоилась в моих объятиях. Тут мне показалось, что кто-то прохладными пальцами коснулся моего плеча. Я испуганно вскочил. Ничего...

Но нет! Кажется, я слышу чей-то тихий шепот. Иллюзия. Я нагнулся к твоим упоительным губам и хотел нашептать тебе тысячи нежных слов.

Но снова услышал этот настойчивый, бесплотный голос.

– Навечно, – доносился откуда-то шепот. – Навечно. – Это звучало почти горько и насмешливо.

Тут я узнал этот голос, и меня пронзила резкая боль. Голос был во мне!

Я не хотел его слышать, я крепко прижал тебя к себе и погладил по волосам.

Но он снова зазвучал, почти с угрозой: «Обладать счастьем значит отказаться от него! Всё проходит! Ты хочешь увидеть, как эта звездная ночь растворится в повседневности? Разве она станет ступенью к абсолютному блаженству? Так откажись же от нее, не разменивай ее на мелочи! Воспоминание – это все! Только расставание прекрасно!»

Так предостерегал суровый голос. Мое сердце противилось, но молчало. Потому что это было правдой!

Теперь мою мечту освещал свет безжалостного дня, и напрасно я пытался закрыть глаза.

И все же я еще раз откинулся на подушку, привлек к себе послушное тело, забыл о прощании и обо всем на свете и целовал алый рот и белую грудь, затылок, плечи и золотые глаза.

Потом я тихо и быстро поднялся. Прошелестела портьера. Легкий щелчок...

Когда я снова вошел, я увидел, что моя возлюбленная стоит у окна. На ней было белое платье с золотым кантом.

При виде этой красоты, этих благородных линий, этого чистого мечтательного профиля на фоне синего звездного неба мною опять овладела жажда сохранить это все навечно, не расставаться, остаться здесь навсегда.

Но тут во мне снова заговорил предостерегающий голос: «Не обольщайся! Быть человеком – значит покинуть! Так, как ты любишь ее сейчас, ты больше никогда не сможешь любить ее! Ты хочешь увидеть, как умрет ваша любовь? Любовь, ставшая звездным часом, скоро обернется тоской! А если ты расстанешься с нею теперь, она навсегда останется твоей единственной любовью!»

Тогда я стиснул зубы и подошел к своей возлюбленной. Она посмотрела на меня долгим взглядом и произнесла чудным голосом, своей красотой напомиравшим вечернее солнце на матовом золоте:

– Ты уже уходишь, любимый? Еще ночь... Жизнь холодна и одинока...

Я сжал губы и промолчал. Она снова взглянула на меня.

– Ты не вернешься! – резко вскрикнула она и схватила мою руку.

– Нет, – четко ответил я. – Нет, потому что я тебя люблю!

– Потому что ты меня любишь, – повторила она вполголоса с совершенно отсутствующим видом. Я прижал ее голову к своей груди и погладил холодную руку. Некоторое время она молча смотрела в одну точку.

Внезапно высвободив руку, она посмотрела мне прямо в глаза долгим загадочным взглядом. Потом медленно произнесла:



- Да, все хорошо! - И добавила совсем тихо и нежно: - Потому что я люблю тебя!

Ее взгляд обжигал меня. Наши губы медленно сблизились в поцелуе, бесконечно долгом, болезненно-сладком, заставившем забыть обо всем. Наконец я поднял голову.

- Теперь благослови меня, - сказал я и опустился на колени.

Серебряное сияние луны разлило по комнате молчание. Я закрыл глаза. Зазвучал дивный голос:

- Когда мир, тоска или твое «я» наскучат тебе, пусть воспоминание об этой ночи принесет мир и покой. Пусть оно станет тебе домом... Домом... - повторила она потерянно. - Домом... - Теперь ее голос звучал еле слышно. Потом, наклонившись, она поцеловала меня в лоб и глаза.

И я почувствовал, что на моем пути больше не будет той боли и заблуждений, что преследовали меня раньше. Свободный, я поднял голову и вышел.

Блеск лестницы. Щелчок замка. Мерцание висячей лампы. Прохладный ночной воздух... Вокруг белого силуэта - темная синева. Я взял ее за руку и склонился над ней, но потом приподнял край платья и поцеловал его.

Тогда она молча подставила мне губы.

Я еще раз увидел золотые глаза.

И ушел.

В эти последние ночные часы мне пришла мысль ослепить себя, чтобы не видеть больше ничего, чтобы вечно внутренним взором созерцать только эти золотые глаза. Я обернулся, я хотел помчаться назад и закричать:

- Нет-нет, я не оставлю тебя!

И все-таки я не сделал этого, а пошел дальше своим путем, день за днем, ночь за ночью, как все. Но вечерами, когда звездная ночь становилась серебристо-синей, я садился к роялю и играл «Лунную сонату». При этом я был совершенно спокоен, а мое сердце переполнялось счастьем; все-таки то, что я сделал, было правильно. Так я могу любить ее вечно, так она хозяйка моей жизни! Кто знает, что случилось бы, не уйди я. Снова и снова под звуки рассыпающихся серебристым дождем триолей я чувствую, как она подходит ко мне и освобождает меня от страданий и забот; я снова слышу ее голос, напоминающий мне матовое золото, усыпанное розами: «Идем домой...»

А когда становится совсем темно, я играю сладостный, сладостный ноктюрн фадиез мажор Шопена...

1920

В дни юности... [5 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Медленно отзвучала мелодия божественной «Лунной сонаты». Я стоял у окна и всматривался в девственно-нежный весенний вечер. Темнело...

В окне соседнего дома блики от мерцающей свечи падали на золотистый пробор. Руки, под которыми только что оживала божественная бетховенская соната, неподвижно лежали на белых клавишах. Мое окно было выше, так что я хорошо видел всю комнату.

Девичья комната. Со всеми изящными мелочами и пустячками, составляющими неуловимую прелесть девичьей жизни. Над роялем – белая маска Бетховена на темном фоне. Мой взгляд бездумно остановился на руках девушки, и вдруг я заметил, как они снова заскользили по клавишам. Я знал эту мелодию. В унисон ей в моей груди зазвучало что-то темное, словно полузабытые воспоминания пытались обрести свой облик. Тут вступил ясный девичий голос.

Мне показалось, что меня ударили в сердце. В сопровождении рояля звучала старая, святая для меня песня: «В дни юности... В дни юности...»

Время и пространство исчезли. Прошлое, во всех цветах, ожило и вернулось... На меня смотрели знакомые глаза... Я очутился в своей юности. Такой же весенний вечер, но еще нежнее и по-летнему блаженнее. Или уже было лето?.. Не помню...

Я бродил по переулкам старого города. И тут навстречу мне явилась Ты, цветущая и юная. Мы были едва знакомы, Лу; лишь однажды нас мимоходом представили друг другу. Жемчужная нежность ясного дня озарилась в моей душе мягким светом доброты. В Твоих глазах тоже сияла весна. Мы шли вдвоем по старым садам, утопающим в сирени. О чем мы разговаривали? Я уже не помню. Разве за нас не говорили вечернее небо, буколические облака и аромат сирени? Потом мы пережили три дня, три вечера, утопавшие в аромате сирени и серебряном сиянии звезд, три неповторимых вечера, слишком прекрасных, чтоб быть правдой. Ты еще помнишь, Лу?

Первый вечер – сумеречно-синий и полный предчувствий. Твоя чудная фигура в кресле. За моим окном цвел каштан, распутившийся тысячами свечей. Он шумел так странно и неповторимо, словно все солнце весны и лета хотело воплотиться в этом шуме. Я сидел у рояля, и в сумерках плыла старая песня: «В дни юности... В дни юности...» Потом мы болтали... А вокруг становилось всё темнее – от любви, да, от любви – и от весны.

Как прекрасен был тот первый вечер! Как полураскрытая алая роза, отяжеленная росой, как темно-голубая душистая сирень, окруженная мечтами, овеянная сумерками, юностью и красотой. Старые улочки и чудные звезды на темно-синем небосводе. Я и сейчас помню, каким было Твое лицо, когда, прощаясь, Ты стояла передо мною. Лунный свет косо падал на узкую улочку. Ты стояла в темноте, но свет луны отсвечивал волшебным серебром в Твоих глазах. А потом – я помню – кто-то из нас сказал:

– Этот вечер связывает и освобождает нас... Мы просто два человека... Мы должны говорить друг другу «Ты».

– Да, Ты... Ты. – Я держал Твою руку. Ты смотрела из темноты на освещенный луной переулок... затем приблизилась снова и молча подставила мне губы. А потом Ты исчезла, любимая, но все еще была в моих мыслях, когда я шел домой.

Второй вечер сиял. Насколько тосклив был первый, настолько ослепителен второй. Потому что в тот вечер мы предавались волшебным грезам. Ты еще помнишь, как я зашел за Тобой? Вечернее солнце бросало прощальные лучи на колокольню, играя на циферблате и стрелках золотых часов. Неторопливой волшебной походкой Ты шла мне навстречу – о, как я люблю Твою походку! Вечерняя заря неповторимо прекрасного дня бросала блики на Твои волосы, устилала нежным сиянием дорогу под твоими ногами. Снова в опускающемся вечере зазвучали мелодии – старые песни и мотивы. И затихающие звуки неожиданно рождали отклик в моей душе...

Я снова грезил.

Я чувствовал себя тоскующим королем в стране сумерек и цветущих садов. Я рассказывал Тебе об этом перевоплощении – о человеческой судьбе, муке и тоске. О том, что я – нищий в лохмотьях, странствующий по миру в поисках своей королевы. Что каждые семь лет я прихожу к темному морю. Качается лодка, блестит корона. Нищенские лохмотья спадают, уступая место пурпурному одеянию; в темном море сияет золотой остров света – моя страна, моя страна! Мрамор, пурпур, золото! Стены из серебра, вечно цветущие деревья, птицы с алмазными глазами и пение соловьев, ах, все так прекрасно и сладостно! Моя страна, моя страна Авалон; мои сады, где исполняются желания; глубокие озера, деревья с роскошными кронами! А в напоенных тяжелым ароматом рощах, залитых лунным светом и наполненных священной тишиной, – золотой алтарь для королевы! Ты еще помнишь, Лу, как прервался мой голос, когда я сказал Тебе, что золотой алтарь все еще пуст? И что я вынужден снова, скрываясь и рыдая, уходить оттуда в мир нищим и опять семь лет искать королеву...

Тогда, Лу, Ты подошла ко мне, Ты страдала вместе со мной, и Ты сказала:

– Нет.

О, я до сих пор еще слышу это «нет», это «нет», которое сроднило нас; я помню, как ты его произнесла! А когда я говорил о своем одиночестве, в Твоих глазах были нежность и любовь, и Ты сказала:

– Я хочу быть с тобой... идти с тобой... Ты не должен быть одинок.

Лу, в это мгновение Ты приковала меня к себе золотыми цепями! Синим заревом вспыхнула звездная ночь, я снова ощутил себя избранным; я, король, опустился на колени перед Тобой, своей королевой! И Ты склонила голову, словно тень Вселенной на секунду помутила Твой взор, когда Ты наклонялась ко мне, и Ты поцеловала меня, недостойного, в горячий лоб.

И мрачный мир исчез: прекрасная, озаренная утренними лучами, возникла передо мной моя страна, я воскликнул: «Королева!» – и заключил Тебя в объятия. Моя душа трепетала от восторга, свободы и благоговения, и я пел Тебе песнь своей мечты. Мы вместе сели в лодку под звон колоколов, ликуя от слияния с золотой ночью.

Ты еще помнишь, как я был пьян от счастья? Как мы ликовали? О!..

А на пути домой звездное серебро, сияние падающих звезд, таинственный шепот темной листвы, блаженство улочек, усыпанных цветущей сиренью, наполнили наши потрясенные сердца и соединили нас навечно.

Ты еще помнишь, как трудно нам было расстаться? Как мы снова и снова протягивали друг другу руки, словно даже одна короткая ночь могла похитить нас друг у друга?

Еще долго стоял я, прислушиваясь к твоим шагам, легким, как у эльфа. Когда я шел домой по старым улочкам, Ты была в моей душе, Ты была моей душой...

А потом – третий серебряный прощальный вечер – вечер расставания. Я шел Тебе навстречу; в синеве неба плыли белые перистые облака, окаймленные золотом; моя тоска была укутана в нежно-розовые одежды. Над этим вечером носились жемчужно-серебристые аккорды Грига и теплота Шуберта. Мы дрожали от блаженства волшебного вечера, переполненные восторгом и счастьем, мы почти ничего не говорили: лишь изредка роняли скупые фразы и сразу замолкали, встретившись глазами, – что значат слова, когда разговаривают души? Такими были мы в тот вечер. Восхищенными и счастливыми. Но во всем чувствовалось бесконечно нежное, щемящее дыхание предстоящей разлуки, отчего вечер казался еще более изысканным и неповторимым. Так мне хотелось бы однажды проститься с жизнью, Лу, как тогда с тобой, – восхищенным и счастливым, без привкуса обиды на судьбу, так же радостно, так же свободно... Стало совсем темно...

Подул весенний ветер, нежный, тоскующий...

Мы больше никогда не виделись.

Что случилось с Тобой, Лу? Тогда Ты носила на левой руке тонкий золотой браслет... Нашла ли Ты тихую, счастливую страну бесстрастия и блаженства, в которую верила в детстве? Или девственно-нежный весенний ветер навевает в Твою душу страстные желания? А может, темные плакучие ивы уже отбрасывают тень на Твою тихую могилу?.. Что случилось с Тобой, Лу?..

Через открытое окно доносится сладкий девичий голос. Он поет старые песни о расставании, о бегстве, о встрече. Что движет твоим сердцем, дитя, что заставляет тебя петь эти милые, печально-сладостные песни?

Я опускаю голову и закрываю окно.

Будь что будет, Лу! Те три вечера с Тобой, это триединство, полное летнего блаженства и солнца, блеска звезд и лунного света, аромата сирени и цветущих садов, я храню, словно корону, блестящую корону с роскошными украшениями, на темном бархате воспоминаний!

Сегодня вечером я найду свой дневник и прочитаю некоторые записи... О юности. О единственной юности...

1920

Ноябрьский туман [6 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

*Ecrit en douleur ? la plus haute*

*la contesse Manon longtemps morte*[7 - Писано с душевной скорбью в память о ее светлости давно почившей графине Манон (фр.).]

Уличные фонари, словно печальные заплаканные глаза в унылом сером тумане, этом сером давящем тумане, этом лоне печали, траурном покрывале, которое вот уже несколько недель как опустилось на землю. Из влажного покрывала капли дождя однотонно падают в тишину, эту гробовую тишину вокруг меня, все ближе и так зловеще, что я еще глубже ухожу в себя и словно уменьшаюсь, и мне кажется, будто мое лицо потемнело и сморщилось, стало похожим на коричневую маску, которая широко открытыми глазами уставилась в пустоту...

Я с криком вскакиваю и выбегаю из дома на луг и жду солнца, чтобы оно своими ножками-лучами взобралось на брусья тумана и спугнуло призрак. Но оно парит, как розовый парус в бледной дымке, и безысходность, словно молот по наковальне, бьет по сердцу, терзает его, шепчет и угрожает, вырывая кадр за кадром беспощадную киноленту воспоминаний из тумана былого.

О, друзья мои, как опасен и сладок сильный яд этого «А ты помнишь?»; как горек напиток из этого «А как-то раз...», когда вокруг тебя носятся старые, забытые голоса и спрашивают и ласкают: «Ты ли это?», и манят, и ласково шепчут: «Все было не так», и насмешничают, и плачут: «Все прошло... прошло...»

Тогда во мне просыпается что-то, что я давно полагал умершим, миновавшим и прошедшим, тогда поднимаются из глубин памяти яркие дни, которые я давно позабыл, звучит звонкий голос, блестят золотые волосы и глаза цвета аметиста; а звуки кружат и танцуют, прелестный аромат окутывает меня, гравий скрипит под быстрыми ножками; звенящая волна, светясь и пенясь, захлестывает меня, рассыпается брызгами красок и света, сияния и блеска; я оборачиваюсь...

О чем ты мечтаешь, глупец, она давно умерла, и морозящий дождь сочится, наверное, сквозь зябкую землю и гниющий гроб на ее желтеющие волосы... Трясущимися руками я наливаю красное бургундское вино в бокалы, оно, словно кровь, обогрывает мои пальцы, а я застывшими глазами гляжу на него... Может, я должен сдвинуть бокалы за тебя и себя, а потом выкинуть их и сам броситься куда-то в эту свинцовую тишину за окнами, что протягивает ко мне паучьи лапы ужаса?..

Красное вино, словно огненный рубин, таинственно светится в матовых сумерках моей комнаты. Разве она не похожа на храм, где толстые восковые свечи мерцают перед иконами и нежные облака ладана теряются в темных готических сводах? Разве в шуме дождя не слышится нежный глубокий голос органа, а монотонно падающие на стекло капли не выводят тихие псалмы?.. И бокал с

прозрачным вином разве не горит, словно красная лампада, перед бледным портретом на стене, как перед иконой, так что кажется, будто аметистовые глаза снова светятся, рот произносит робкие слова, а на нежно-персиковом лбу просвечивают жилки; чу, разве не раздался только что звук, похожий на звон серебра, разве это был не тот самый смех, напоминавший отблеск вечернего солнца на кусте роз?..

Но уже давно она лежит в могиле, одинокая, покинутая, мертвая, смотрит черными пустыми глазницами перед собой, а ведь когда-то она была человеком, полным жизни и тепла, как я и ты, как я и ты, и мы, мы все; – а теперь гниет и разлагается...

Я смахиваю бокал со стола и несусь прочь, прочь – куда? – к людям, к людям, к свету, к свету, – только прочь отсюда; затравленный ноябрьским ужасом, этой туманной могилой безысходности, несусь туда, где свет, шум, люди, где громко звучит музыка и раздается смех, и я пью и пью, пока хмель своими мягкими топориками не сваливает меня с ног...

1920–1921

Цезура [8 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Когда бухгалтер Йозеф Детеринг вышел из дома и собрался перейти на другую сторону улицы, что вела к месту его работы, им овладело странное чувство. Впервые в жизни ему пришло в голову, что вот уже двадцать восемь лет каждый день он ходит по этой длинной, пыльной улице, в конце которой находится его контора, – по утрам, ровно в половине восьмого, туда, по вечерам, в четыре часа, обратно.

Он вдруг понял, что его жизнь ограничена этой улицей, как решеткой; что она отгородила его от остального мира; что его жизнь, подобно маневровому составу, бесцельно движется взад и вперед по этому единственному отрезку пути.



В перспективе улицы темнели дома. Ему казалось, что их бесконечная череда стремится вдаль, навстречу далекому, глухо стучащему ничто. Поливочная машина прервала единство линии; она заняла почти все пространство между тротуарами и начала разбрызгивать струи воды.

Над домами расстилалось блеклое утреннее небо. Поднимающееся солнце скользнуло по нему, и оно засияло, словно нарядное платье избалованного ребенка. В каплях воды на темной, влажной части улицы, резко отличавшейся от еще не политой безжизненно-серой мостовой, свет отражался, словно в вогнутых линзах.

Йозеф Детеринг осознал, что видел мир по утрам только в воскресные дни. Никогда он не видел мир в понедельник в девять утра или в четверг в одиннадцать. У него появилось чувство, что он упустил что-то очень важное. Такую подавленность он испытывал всего раз в жизни, потеряв папку с документами, которая срочно понадобилась шефу.

Наверное, очень приятно пройти по улице в девять утра. В это время, надо полагать, полногрудые молочницы, звеня бидонами, переходят от дома к дому; в дверях появляются женщины, только что вылезшие из теплых постелей, с кастрюлями и кувшинами. В переулках разносятся низкие голоса продавцов торфа и точильщиков; их протяжные крики звучат удивительно мелодично. А в одиннадцать утра женщины с полными корзинками возвращаются с рынка, счастливые и довольные, потому что они сделали хорошие и недорогие покупки. Собаки нежатся на солнышке, дети собираются в шумные кучки. Какое множество лиц! Сколько он упустил, с тупым упорством сидя в конторе! В мыслях о молочницах и кошелках, которых он никогда не видел, уже мелькнуло, переливаясь всеми цветами радуги, подозрение о разнообразии и богатстве жизни, закрытой для него! Он вдруг ощутил, что жизнь летит в прозрачной вышине над улицами, вон там, легкомысленная, свободная, вальсирующая, немного мечтательная, с полураскрытыми губами...

Не берусь утверждать, что бухгалтер Йозеф Детеринг моментально сформулировал все эти идеи. И тем не менее душевный разлад прогрессировал в нем с такой силой, что все мысли о работе, долге и конторе пропали, словно сон, смешались с воздухом улицы, затопленной солнцем. Он, не двигаясь, смотрел вслед красной поливочной машине, пока та не свернула за угол. Потом резко отвернулся от серой улицы, словно перечеркнув в этот момент двадцать восемь лет своей жизни.

Ему навстречу попалась повозка, запряженная гнедыми лошадьми с блестящими боками. Они пританцовывали и, играя, покусывали друг друга за морды, белая пена жемчужно поблескивала на их губах. Детеринг приветливо кивнул вознице, тот в ответ весело щелкнул хлыстом.

Потом начались луга, зеленые луга, распростершиеся под солнцем, словно готовая отдать женщина. Сочная трава бурно разрослась до самой обочины дороги, здесь улитки пускались в свое медленное бегство от поднимающегося солнца. Как капельки масла в сливочном пироге, желтели цветы, росшие кустиками. Некоторые из них он помнил еще со школьной поры. Он громко называл их по именам, кивал им, словно после тяжелой болезни вернулся к родным: голубая перечная мята, стройная пастушья сумка, толстый, добродушный одуванчик.

В пригороде он завернул на постоянный двор. Посмотрел на часы: было десять. В нем поднялась непонятная радость, когда он увидел, что витые стрелки на его часах сложились в острый угол. Он поднес часы к уху, чтобы убедиться, что они тикают. Потом, почувствовав непонятное умиление, заказал молока и хлеба.

Он ел медленно и с расстановкой, впитывая вкус этого счастливого утра и одновременно болтая с хозяйкой, которая стояла рядом с ним, оперев руки в боки и тупо разглядывая его. Он свободно и легко спрашивал ее о чем-то, сам удивляясь тому, как естественно держится.

Потом собрал большим пальцем хлебные крошки и снова двинулся в путь. Он шагал бодро и уверенно, будто у него была какая-то цель. Он вдруг почувствовал, как оковы упали, как сдвинулась завеса, скрывавшая от него красоты мира. Теплый воздух воодушевлял его; он чувствовал невероятный прилив сил, мурашки пробежали по спине, и колени дрожали. Таинственный ритм отзывался в его дыхании и шагах, он словно парил, ему чудилось, будто неизвестный фокусник, дергая за невидимые ниточки, управлял его жизнью.

Он словно заново научился ходить, до того удивляла его быстрота и уверенность собственных шагов. Глаза его жадно вглядывались в пейзажи. Рука послушно и уверенно охватывала палку, поднимала и опускала ее в такт шагам.

Когда солнце начало припекать слишком сильно, ручей утолил его жажду. Вода сияла бриллиантами в неумело сложенных ладонях. Утомленный, он рад был

отдохнуть в тени. Полдень тихо сомкнул уставшие глаза, проскользнул несколькими пурпурными и темно-синими волнами под закрытыми веками и погасил факел сознания.

Когда Йозеф Детеринг проснулся, он решил взглянуть на часы, чтобы еще отчетливей почувствовать свободу. Но, доставая их из кармана, он вдруг ощутил странный покой, видимо, порожденный благодатным сном. Это чувство заставило его забыть о мелочности и снова наполнило красками окружающий мир; тогда он бросил часы в ручей и пошел к темневшему вдали лесу.

Каждый шаг ускорял биение его сердца и все больше волновал кровь. Величественный, словно Бог, выростал перед ним лес. Последний отрезок пути он преодолел бегом, будто боялся опоздать. Раскинув руки, словно бегун на финише, вошел он в лес.

Его окружила прохлада, подобная той, что обволакивает, когда попадаешь с жаркой улицы в дом. Она опустилась на него, как сбывшееся пророчество, и ему пришлось сжать губы, чтобы не вскрикнуть.

Он припал губами к ели, чтобы ощутить вкус коры и золотистой прозрачной смолы; пожевал листья бука и почувствовал животное инстинктивное счастье от того, что оказался на лугу, на солнце. Усыпанная хвоей почва казалась ему желаннее женщин, о которых он мечтал, – он не мог сквозь одежду насытиться ощущением тепла, исходящего от нее, и потому скинул сюртук, чтобы приблизиться к ней.

Чувства все прибывали и прибывали в нем, словно вода в покрытом рябью бассейне, в который со всех сторон бегут ручейки. Пение птиц заставило его застыть и обратиться в слух; появление белки вызвало головокружение восторга; устремленные вверх стволы влекли его за собой; он поднял руки.

Вечером он набрел на людей, праздновавших в лесу какой-то праздник. Он, взволнованный и беспомощный, оказался среди них и сразу увлек их, смеющихся, своими возвышенными размышлениями о жизни. То, как он с трудом произносил слова и экзальтированно жестикулировал, почему-то растрогало людей. Правда, они не перестали посмеиваться, но и без того праздничное настроение, их открытость и чувства, пробужденные его бормотанием, способствовали возбуждению многоцветной радости; взволнованно шумел лес,

и Детеринг вдруг оказался среди деревьев, он склонялся над девичьим ртом, сам не понимая, как это вышло.

С закрытыми глазами оторвался он от той мягкой, трепещущей плоти, что воспламенила его кровь и теперь тускло белела позади. Почти торжественно прошел он между елей. На поляне споткнулся о корень. Открыл глаза. Первое, что он увидел, были звезды. Потом он заметил у своих ног освещенный луной тихий лесной пруд. Оттуда на него глядело его лицо. Он вдруг узнал себя и вздрогнул. Из глубин подсознания выбралась спрятанная там правда, пытаюсь предостеречь, вернуть. Рука судорожно вцепилась в куст на берегу.

Но в лице, глядевшем на него из пруда, было слишком много силы. Оно неумолимо влекло и приближалось. Почти непроизвольно рука отделилась от последней опоры и потянулась, словно стремясь погладить, к отражению на поверхности пруда, которое вдруг раскололось тягостной мелодией, разошлось кругами и пропало в темноте.

1920-1925

От полудня до полуночи [9 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Ежедневно в восемь часов он выходил из дома, смотрел, какая погода, проходил по лабиринту пересекающихся улиц и попадал на длинную серую улицу, в конце которой гроыхала фабрика, за ней находилась его контора.

На одном из перекрестков располагался ночной ресторан. И часто, особенно зимой, случалось, что оттуда выходили припозднившиеся посетители. Иногда шубка из норки или каракульчи даже касалась его крылатки, он вдыхал аромат чувственных духов, замечал опаловые ногти ухоженной ручки. Тогда в его настроенную на дебет и кредит душу закрадывалось робкое желание, которое все больше и больше усиливалось, доходя до страстной потребности; поздний инстинкт заявлял о себе – несколько пружинящих шагов оживляли смирение поношенных брюк, – и под уже слегка обтрепанным котелком проносилось радужное мерцание, обволакивая, словно туман, привычный распорядок: десять

страниц бухгалтерских счетов, завтрак, сверка копий, подсчеты, конец рабочего дня; оно окутывало, манило, манило, пока наконец понятия: мир, большая жизнь, приключения, наслаждение – не стали ассоциироваться с таинственным проемом двери ночного ресторана и не начали с каждым днем все больше возбуждать и соблазнять его.

Так и получилось, что на следующий день, после того как он временно заступил в должность кассира, в утренней полутьме он увидел очень тонкую щиколотку, показавшуюся из-под котикового манти в тот момент, когда женщина скользнула в автомобиль; в нем родилось то странное чувство равнозначности двух понятий: порядок-долг и приключение-грех, какое бывает только раз в жизни и длится всего минуту; под его влиянием любая мелочь может внезапно стать весомой и решающей.

Часом позже он присвоил крупную сумму, поехал в ближайший большой город и снял номер в самом фешенебельном отеле. Он был спокоен и не думал о преступлении и преследовании. Когда он вошел с только что купленными вещами в свой номер и принял ванну, то удивился отсутствию ожидаемого энтузиазма. Почти равнодушно он подумал: «У меня пять миллионов, я мог бы каждый день жить в таких отелях». Он пошел в кабаре. Когда он пил вино и думал о том, что теперь может купить все, о чем так часто мечтал, у него в голове пронеслась мысль: «Я мог бы долгое время каждый день пить это вино, потому что у меня пять миллионов». Он заметил, что жизнь, приключения, большой мир, – все, что раньше представлялось ему таким сверкающим и манящим, существует по законам его прежней жизни. Светились перламутровые плечи; кокетки демонстрировали свои сияющие тела. Обведенные черными кругами глаза морфинисток обещали извращенные и сильные наслаждения; по-детски краснел коралловый рот на лице пажа. На руках персикового цвета поблескивали камни. Он смотрел на все это и думал: «Я могу получить любую из этих женщин, потому что у меня есть пять миллионов». Но напрасно ждал он того волнения в крови, которое так часто испытывал раньше перед входом в ночной ресторан, когда из-под одежды высывалась женская ножка. Ведь теперь он знал, что может иметь все. Пять миллионов. Он мог быть здесь сегодня, завтра и послезавтра, так часто, как ему этого захочется... И всегда было бы одно и то же... Тут он неожиданно осознал, что жизнь наверху так же скучна, как и внизу; что он просто вошел в другую комнату. Что цель – фата-моргана. Что отсюда он может пойти в еще одну комнату. И так далее. Но никогда не попадет в единственно нужную комнату. Он вдруг осознал, что мечта – самое прекрасное в жизни. Его почти пронзило подозрение о большой трагичности происходящего и об очаровании конечных истин; скрытая сущность

жизни стала яснее, на него снизошло прозрение. Действительность сделалась призрачной, поблекла, растаяла. Туман, дымка, мимолетность. Почти радостно выкристаллизовалось решение.

Так и случилось: на следующее утро его выловили из реки, его лицо еще сохраняло едва заметное выражение сарказма, превосходства и меланхолической иронии, которое обычно бывает на посмертных масках великих людей. Похищенную сумму вернули обрадованному шефу почти полностью.

1920-1925

Финал [10 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

– Жизнь бессмысленна и полна лжи, darling. Мы слишком пронизательны, чтобы довольствоваться массовыми наркотиками: долгом, культурным прогрессом, религией и философией. Мы слишком прозорливы, чтобы погрузиться в банальный круговорот: еда – работа – любовь. Мы слишком больны, чтобы с упрямством и презрением наблюдать за бессмысленностью жизни, как за цирковой пантомимой, хладнокровно дожидаясь последнего акта этой комедии.

Счастлив тот, кто в тиши выращивает свою капусту, выкуривает после работы трубочку, выпивает по вечерам кружечку пива и честно любит свою Карлину. Вдвойне счастлив тот, кто сохранил в неприкосновенности свои идеалы, ходит на службу, которая его кормит, и пользуется уважением ближних. Но втройне блажен тот, для кого женщина означает целый мир, – я говорю женщина, не жена, – в ней он находит исполнение всех своих желаний, так что «их души сливаются воедино», – прости ироничную улыбку – женщина, в которую он верует. Да сохранит Бог глупцу его веру!

Впрочем, в сущности, безразлично, как именно тебя обманывают, потому что все равно обманывают всегда. Вера в женщину или только в себя, Шопенгауэр или лезть, Эпикур или хладнокровие стоиков: всё это – всего лишь обман.

Но мы, проницательные, слегка больные, недостаточно наивные и непосредственные, чтобы не видеть загадок и запутанной сети ходов лабиринта под названием «жизнь», недостаточно упрямые и последовательные, чтобы пытаться разобраться в ней, мы не можем больше обходиться без ощущения пропасти, пляски на крыше небоскреба, независимо от того, хотим ли мы забыть это чувство или жить с ним.

Мы наслаждаемся знанием о сомнительности бытия как будоражащим дурманом, мы иннервируем им слегка прокисшее вино нашей сексуальности и превращаем его в игристое шампанское.

Словно бесформенный туман в осенней ночи, движемся мы в жестокости бытия, не зная, откуда и куда, – вечерний ветер, облако на небе имеют больше прав на существование, чем мы, – проходит столетие, но все остается без изменений, независимо от того, как мы жили. Будда или виски, молитва или проклятие, аскеза или разврат – все равно однажды нас всех заруют в землю, чему бы мы ни поклонялись: своему желудку или чему-то невыразимому, белой женской коже или опиуму, – все едино...

Жизнь бессмысленна и полна лжи, darling, и единственный смысл заключается в искрящемся вине, в этом голубом дыме, в твоих еще более голубых глазах и в твоём шелковистом девичьем теле.

Я сознательно нацелил на тебя все стрелы своего желания и все свое стремление к познанию, все то, что вибрировало тысячелетиями и теперь смутно шевелится во мне; я сосредоточил всю свою жизнь на тебе, я персонифицировал в тебе весь мир.

Твоя гладкая кожа означает для меня то же, что для другого значат семья и родина, твои зеленые [11 - Так в оригинале. – Примеч. ред.] глаза сфинкса были для меня тем же, чем для других были Заратустра, зороастризм и веды; никто не смог бы так грезить от опиума, гашиша и кокаина, как грежу я, вдыхая аромат твоих волос; и никому сотерн, синяя малага или бенедиктин не приносили такого сверкающего золотисто-пурпурного опьянения, как мне – твое укутанное в валансьенские кружева роскошное тело!

Ты была для меня короной и алтарем, загадкой, соблазном, ребенком, матерью, святой, падшей женщиной и богиней – потому что я так хотел. Ты была для меня

жизнью и смертью одновременно, мировой загадкой и загадочным миром, бесконечным праздником чувств и души... Не занимается ли там утренняя заря?.. Праздник окончен...

Ты любила меня, потому что я, подобно Протею, каждый день был разным. И вот мои превращения исчерпаны. Теперь я смогу лишь повторяться, а ты слишком нервна, и тебе это скоро наскучит, отвратит, оттолкнет от меня. Праздник окончен – я собираюсь домой.

Он улыбался, когда покоренная его усталым хладнокровием женщина опустилась перед ним на колени и, как обычно, поклялась ему в вечной любви и верности. Он принял это как должное, как последний утонченный нюанс праздника, и молчаливо наслаждался им.

– В жизни нет ничего более трудного, чем остановиться в нужное время – остаток всегда горек и отдает пошлостью. Нужно иметь особое чутье, чтобы уйти вовремя. Этот момент наступает незаметно. Но готовым нужно быть всегда...

Он зажег все свечи. Комната словно плыла в огне. Персидские ружья в углу отбрасывали матовые блики, мягкие отсветы утопали в толстых коврах, мерцали в красном вине, как корона, сияли на медных волосах женщины, и окутывали ее алебастровые плечи.

– Я лягу здесь, на шкуры и подушки, в нашем волшебном уголке. Расстегни свои одежды и станцуй мне танец белого лотоса...

Когда она взглянула на него в недоумении, он снова улыбнулся. Она никогда еще не танцевала этот танец. Потом она потянулась и начала покачивать бедрами, а он устроился в сумерках среди множества хризантем, которыми сегодня была полна студия.

От движений тепло растеклось по всему ее телу, она выгибала руки, словно стремясь вплести их в золотую сетку свечек-огоньков; поднимала ладони, словно опьянев; скользила, почти физически ощущая неземную прохладу и белизну хризантем. Свободно и легко и в то же время сосредоточенно, в целомудренном экстазе, она начала танец белого лотоса. Она танцевала, увлеченная египетской строгой пластикой и индийской чувственностью, пока ей



вдруг не показалось, что комната теряет свои очертания в сумерках и становится похожей на темное озеро, в котором светлеет очень бледное лицо, словно белоснежный цветок лотоса в ночи...

Укутавшись в мягкую индийскую шаль – лицо в полутьме комнаты все еще светлело, бледное и безмолвное, – она шагнула вперед и увидела на левой руке мужчины тонкий надрез, из которого медленно сочилась последняя кровь, голова его покоилась на подушках, словно он спал, а лицо со спокойной улыбкой белело в сумерках, как белый цветок лотоса.

1923

Декаданс любви [12 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

– Очень трудно, сударыня, дать точное определение слову «декаданс». Мы склонны к полутонам, к переходным состояниям, к эстетическому очарованию. Мы скорее наблюдатели – в том числе и за собой – и в меньшей степени участники. Настроение – легкое, переменчивое, экзотическое – значит для нас больше, чем чувства. Мы все воспринимаем как наркотик, все вокруг нас словно пропитано им. И женщины тоже. Наши предки любили чувством; мы – нервами. Для них целью было обладание, постоянное обладание; для нас обладание – ничто, возможность обладания – всё. Женщины для нас – золотисто-коричневый сладкий наркотик...

Вы улыбаетесь, сударыня, но поверьте: самое прекрасное в любви – не конечный итог, самое прекрасное – прелюдия. Все то, что предшествует любви, все эти прощупывания почвы, несмелое продвижение вперед, просчитывание шагов, это по-кошачьи беззвучное скольжение, эта скрытая борьба партнеров – вот наивысшее наслаждение для нас. Для наших предков любовь была алтарем или пивной – в зависимости от обстоятельств; для нас она – фехтование на звонких рапирах в старом венецианском зале, где свечи отблескивают на зеркальной серебристой стали, а на стенах лоснится старая парча...

Я хочу рассказать вам об одном случае, чтобы немного прояснить абстрактную софистику моих слов. На моем левом плече есть тонкий шрам. У этого шрама своя история. Год тому назад в Брюсселе я познакомился с женщиной, которая привлекла мое внимание узкими длинными щиколотками – признак породы и начинающегося вырождения. Она была блондинкой, как и вы, сударыня; только ее волосы не отливали медью, как ваши. Это было вторым, что бросилось мне в глаза. Третьей, решающей причиной было то, что она прогнала мужчину, который пытался говорить с ней о Метерлинке и сравнивать его с д'Аннунцио. Потому что, милостивая сударыня, к сожалению, мужчины как вид в целом настолько утратили свои первоначальные инстинкты и настолько обуржуазились, что осмеливаются разговаривать с дамой холодно и сдержанно, обсуждать с ней факты, быть разумными. Мужчина всегда должен видеть в даме женщину; факт ее женственности всегда должен быть первым и определяющим. Но у кого еще остались эти утонченные первобытные инстинкты, эта обволакивающая женщину каждым словом, каждым движением, вечно бодрствующая мужественность, перед которой не может устоять ни одна женщина, независимо от того, ненавидит она мужчину, презирает или даже – любит?

Простите мне эту злую шутку, моя дорогая, и дайте еще сигарету. Вы видите, эту историю не получается рассказать, не отвлекаясь: итак, я угадал в этой женщине чуткость и тонкую нервную организацию; к тому же она была лишена сентиментальности и достаточно опытна, чтобы борьба была небезопасной. Потому что, дражайшая сударыня, это поединок нервов и темперамента, и, если побеждает темперамент, ты пропал. А у меня темперамент...

Я часто видел ее за чаем и довольно быстро почувствовал тот нервный трепет, который предшествует наэлектризованности.

Потом зазвенели чашки, заискрились намеки, началась словесная дуэль. Я уже получил определенное преимущество. Когда остроумный, как эпиграмма, разговор на общие темы дрожал в неустойчивом равновесии, я неожиданно в смелом повороте сделал выпад, к которому она оказалась не готова, он сбил ее с толку, и я возликовал. Затем я поцеловал ей руку и удалился.

На следующий день она вооружилась остроумием до кончиков пальцев, искрилась и блистала, я время от времени вставлял какой-нибудь парадокс, раззадоривал ее и внезапно сделал мягкое, мальчишеское замечание, которое опять поставило ее в тупик.

Но и она уловила мое уязвимое место, ту черту моего характера, которая была меньше всех скрыта: темперамент.

Эта женщина была прекрасна. Одежания чудно облегли ее колени, ибо она не носила платьев, она облачалась в одежания. Наверное, в подколенной ямке билась голубая жилка, так белы были ее руки... Моя кровь начинала бурлить, когда я был рядом с ней. Я это скрывал. Она все равно это знала. Тогда я перестал это скрывать, чтобы не ослаблять своих позиций.

Мы танцевали. Она держала дистанцию, при которой мы едва касались друг друга, это сводило меня с ума. Я делал глупости, был нетерпелив, упускал шансы, пылко пытался исправиться, натыкался на сдержанную улыбку, запинаясь, замолкал...

Я начал проигрывать. Мои парадоксы и остроумные выпады больше не смущали ее. Когда ей приходилось молчать, она улыбалась. Вызывающе. Насмешливо. Она намеренно уступала мне. Иронично улыбалась, когда я этим пользовался. Если я не обращал на это внимания, она язвительно на это указывала. Я начал нервничать.

Я знал, что все ее приманки были просчитаны. Что она вела бой своим оружием. Что, как только она увидит меня у своих ног, все кончится. Что, возможно, она отдастся мне. Но с чувством превосходства. Так что на следующий день мне придется от стыда пустить себе пулю в лоб.

Я начал сильно нервничать. Во мне проснулось что-то атавистическое. Я любил эту женщину. Кипение крови помутило остроту зрения. Чувство подсовывало обманчивые картины. Я был в опасном состоянии.

Тут она пригласила меня к себе в будуар на чашку чая. Она встретила меня серьезно. Напрасно я искал в ее глазах издевку. Вокруг ее рта не было ни единой иронической складочки. Она показалась мне нежной, даже сентиментальной. Все хитрости и расчет пропали. Это привело меня в опасное, меланхолическое настроение, такое бывает в пору осеннего листопада, когда на деревьях висят разноцветные, уже умершие листья...

Я попросил ее сыграть на рояле. «Песню без слов» Чайковского. Я смотрел на мягкие линии спины, которые терялись в вырезе ее одеяния... О, эти падающие листья за окном... О, эти опадающие линии плеч так близко от меня – аромат волос – голубые сумерки – полуоткрытый рот – серьезный, почти печальный – эти затухающие минорные звуки...

Я взволнованно поцеловал ее руки и хотел уйти.

Она удержала меня.

– Останься. Я сейчас приду, – сказала она; еще ни один женский голос не казался мне таким серебристым, как этот.

Я замер. В смятении. Кровь стучала в висках, накатываясь волна за волной. Где-то в мозгу еще теплилось сознание, холодная правда... Я хотел уловить эту правду, удержать в пурпурной сумятице чувств – и тут женщина снова вошла в комнату.

Дверь в спальню она оставила открытой. Мягкий свет плавал в комнате. Был виден край белой кружевной постели.

Тончайший черный шелк. Сквозь него просвечивали – ведь свет из спальни падал сзади – контуры самого прекрасного в мире тела. Глаза: глубокие и преданные. Этот рот: добрый и полный страстного ожидания. Эти тонкие руки, протянутые ко мне. Моя кровь бурлила, гнала прочь все раздумья, призывала к действию. Я устремился к ней и одним рывком уложил в манящую постель.

И вот уже мои руки дрожат над шелковыми одеждами, и вдруг что-то, быть может запоздалая мысль, спрятавшаяся от жаркого прилива крови, – откуда мне знать, – что-то заставило меня открыть глаза. Я увидел перед собой благородное лицо, ее глаза были закрыты. Вокруг крыльев носа тоже дрожало желание, рот – сама готовность отдаться, – и все-таки вокруг рта – в уголках губ – притаилась почти незаметная усмешка – усмешка, выдававшая триумф – триумф!

Я мгновенно осознал рафинированность западни, в которую чуть было не попал. Вскочил. Сразу же успокоился. Кровь перестала бушевать. Я засвистел какую-то мелодию.

Она подскочила, как от удара хлыста. Посмотрела на меня и все поняла. Но она больше не могла использовать рискованные средства, которые обычно применяла, не могла усмирить духов, которых сама и вызвала. Они оказались сильнее. Желание когтями впилось в нее. Она хотела, ей было необходимо получить меня сейчас; игра с огнем слишком распалила ее.

Я собрался уходить. Вы знаете, что для женщины это смертельное оскорбление. Она, словно вакханка, потянула меня к себе. Схватила тонкий мавританский кинжал, который всегда лежал на ее туалетном столике, встала у двери и воскликнула:

- Не вздумай уйти - я убью тебя...

Она воспламенила меня, все тело стало упругим, сильным порывом, мощным жаром и пылом.

И вот, моя дражайшая, наверное, вы это поймете, теперь ситуация резко изменилась. Все, что было до того, исчезло. Игра и борьба, поддразнивание и остроумие - все прошло. Решение зависело только от нее.

Вы знаете, как я люблю стихии. Огонь, море, шторм. И вдруг я оказался перед вот такой первобытной стихией, таким земным первобытным инстинктом, желанием женщины! Я неизбежно вынужден был бы полюбить его, точно так же, как остальные стихии, если бы... - да, если бы оно доказало, что оно - действительно первобытное желание. Для доказательства требовался один шаг. Без единого слова я твердо посмотрел на нее и шагнул к двери. Сверкнул кинжал, я почувствовал, как он вошел в плечо. Сразу же выступила кровь.

В следующее мгновение она далеко отбросила кинжал, упала передо мной на колени, и плакала, и рыдала:

- Прости. - Она ощупывала рану. - Прости...

Я стряхнул ее руку, приложил к ране носовой платок и, уходя, холодно произнес:

- Перед этим вы почти победили, мадам. Но и теперь - если бы вы действительно сделали это, если бы вы ударили по-настоящему, я не смог бы не полюбить вас

именно из-за этого поступка, из-за вашей первобытной силы, из-за глубинной связи с природой, из-за мощного проявления чувственного влечения. Но даже в момент самого бурного проявления вашей женской сущности и самого тяжелого ее оскорбления вы – думали. Клеопатра убила бы мужчину, поступившего так. И Помпадур заколола бы его кинжалом. Но вы трусливо остановились на полпути. Вы почти решились на поступок, но он оказался вам не по плечу. Вы – не квинтэссенция желания и духа и не соединение этих двух стихий. Всего лишь смесь. Не Женщина. Только существо женского пола. Выходите поскорее замуж...

Маркиз умолк. Женщина перед ним выпрямилась. Она резко произнесла:

– Да вы... оставьте меня! Немедленно! Не возвращайтесь. Я не хочу вас больше видеть.

Она вышла... Он посмотрел ей вслед. Улыбнулся, надевая шляпу. Он знал, что уже завтра будет обладать ею, а она будет целовать тонкий шрам на его плече, когда он заснет, считая, что он этого не заметил.

1923

Силуэт Ян-це-цян [13 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Несколько дней подряд шел дождь, и мы убивали время в доме Та-сё-ши в Нанкине, выпивая бесчисленное количество чашек чая и выкуривая бесчисленное количество бронзовых трубок алжирского табаку. Маньчжурец Цинь-цень-цян, в доме которого мы тщетно пытались сделать ночные фотографии звездного неба, отвел нас в чайный домик на юге города, где выступала маленькая танцовщица.

У нее была светло-желтая кожа, глаза на нежном личике казались черными, вся она была хрупкая, а щиколотки у нее были невероятно узкими и тонкими. Пока мы встряхивали в стакане игральные кости, которые бог знает где откопали в этом маленьком ресторанчике, чтобы решить, кто ее получит первым, потому

что было ясно, что ее можно получить, подошел мой бой и сообщил, что на небе появились звезды и снова подул теплый ветер.

Мы выбежали на улицу. По усеянному звездами небу еще плыли, как огромные птицы, торопливые облака, но южный ветер уже стал теплым. Через час верх нашей джонки должен был высохнуть. Мы кричали, требуя лошадей и носильщиков, мы шумели и смеялись: в темноте нас поджидали приключения, теплый ветер опьянял нас; мы хлопнули толстого хозяина по спине, так что он почти поцеловал землю, бросили в его покорные руки деньги, купив тем самым танцовщицу на три дня, и ускакали.

Я прыгнул к ошеломленной малышке, поднял ее, рванул вверх и посадил перед собой на лохматую китайскую лошадку.

Она, словно маленькая птичка, беззвучно лежала в моих руках. Мы скакали через шелковичные рощи и заросли карликового бамбука. Передо мной раскачивались зеленые и красные фонари китайцев-носильщиков, отбрасывавшие гротескные тени; широкий силуэт Кинсли на коне мотался из стороны в сторону, несколько золотых фазанов со свистом пронеслись над дорогой; вдали прокричала пантера, от этого первобытного крика лошади забеспокоились; молодость играла у нас в крови; сказочно и неярко поблескивали в темноте азалии, а под моей ладонью беспокойно билось маленькое сердце.

Все было волшебным и неправдоподобным. Передо мной простиралась сияющая ночь. Я заметил, что рот у танцовщицы хорошей формы, даже, пожалуй, красивый. Кораллово-красный. Лицо неподвижно. Ветер напоен ароматом цветов, аромат был повсюду – казалось, я скакал по сказочному лесу с похищенной принцессой...

Наша джонка поднималась и опускалась в грязных потоках Янцзы. Кинсли уже вел переговоры с маньчжурцем, которому, благодаря пуговице из горного хрусталя на фуражке и вышитой на нагруднике цапле, почтение наших носильщиков было обеспечено. Загремели цепи, Оле Хансен, проклиная всех и вся, требовал ковров и виски с содовой, носильщики, тяжело дыша, тащили наверх носилки. Я осадил коня и хотел снять танцовщицу. Тут она вздрогнула, впервые посмотрела на меня, издала звонкий, почти птичий крик, повернула к себе мое лицо, так что я заметил, как заблестели ее покрытые эмалью ногти, посмотрела мне в глаза, словно искала чего-то, а потом спрятала лицо в одежду.

Вы слегка улыбнулись, сударыня, но вы ошибаетесь: банальной сцены узнавания не последует, она не была девушкой из Шанхая или Гонконга, с которой я случайно встретился вновь; это не было и обычной, внезапно вспыхнувшей любовью ко мне, это было... ну, да вы еще услышите...

На палубе расстелили ковры, Оле Хансен начал готовить разноцветные напитки, китайцы занялись приспособлениями для ловли многозуба, паруса были подняты, мачты скрипели, вода пенилась за бортом, мы развернулись и пошли вниз по течению.

Вскоре огни позади нас померкли, шумы стихли, и только река пела свою однотонную песню. Небо совсем очистилось от облаков, и волшебство лунной тиши было возвышенным и безмерно глубоким. Мы скользили от середины реки к берегу. Ветер был нежным, как женские руки, ночь – печальна, как улыбка девы. С берега доносился запах камфорных деревьев и гуайявы. К ним примешивался и запах имбиря, хотя заросли этой травы находились южнее. Мимо проплыл спящий город Чич: немного огней и приглушенный собачий лай.

На палубе стало тихо. Китайцы спали или сидели на корточках у штевной, Кинсли прекратил читать и разглядывал звезды, а Оле Хансен велел своему мальчику- аннамиту принести кальян с опиумом. Танцовщица, которую Хансен заставил выпить пару бокалов кобле- ра, спала в углу.

Я приказал принести мою трубку слоновой кости, подарок одного старого китайца, и, устроившись на подушках рядом с Хансеном, взял из серебряной коробочки каплю опиума, дал ей закипеть на огне, от чего опиум стал золотисто-коричневым, набил трубку и глубоко затянулся.

Мною снова овладело волшебное чувство нереальности происходящего; тихое поскрипывание парусов, журчание реки, мелькающие силуэты деревьев – все слилось в единый нежный аккорд, в котором растворялись время и пространство, а мир превращался в одну чарующую золотисто-коричневую мелодию.

Где-то чирикала маленькая птичка; наверное, жаворонок. В этом нежном полусне, сопровождаемом ритмичным покачиванием горизонта и глубоким дыханием мира, звучал голос Кинсли, который читал, опершись на руку. Символические высказывания Кун-цзы [14 - Конфуций.] о мире... мистические



рассуждения Лао-цзы [15 - Лао-цзы – автор древнекитайского трактата «Лао-цзы», канонического сочинения даосизма.]... а потом божественный Ли-та-пей, бродяга, друг императора, вина и дальних просторов...

Вы, наверное, понимаете, сударыня, что в эту сказочно теплую ночь под потрескивание трубок с опиумом и под звуки золотоносных стихов мудрого странника, лишь наполовину воспринимаемых нами, мы впали в такое медлительно-мечтательное состояние, что совершенно забыли о танцовщице и вспомнили о ней, только когда китайцы начали наигрывать приглушенную мелодию на своих гонгах и струнных инструментах, и она медленно встала.

Мы лишь слегка приподняли головы, когда она танцевала. Нам достаточно было чувствовать, что ее танец гармонирует со звездами, рекой и лесом, расстилавшимся вокруг. Убаюкивающая музыка разливалась между снастями и тросами, соединялась с красноватым светом лампы и окутывала молчаливую танцовщицу. Вдруг она сделала несколько быстрых шагов, посмотрела на меня странно, будто пытаюсь в чем-то убедить, подняла руки, наклонила голову, попятилась назад, дальше, дальше – медленно обернулась и прыгнула за борт.

Потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. Река была мутной, и джонка уже уплыла вперед. Ничего больше не было видно. И все-таки я хотел, хотя это наверняка не дало бы результата, приказать, чтобы ее поискали со шлюпки. Но мой бой, обычно очень робкий, удивительно быстро положил мне руку на плечо и сказал на ломаном немецком:

– Не делать, господин... так... хорошо...

История на этом заканчивается, дражайшая сударыня. Вам кажется, я мог бы рассказать ее более выразительно? И кроме того, опять не хватает изюминки? Да, я мог бы сделать основной темой рассказа то, о чем уже обмолвился: видимо, что-то во мне болезненно напомнило малышке о прошлом. Но мне этого совсем не хотелось; я стремился изобразить волшебный воздух той ночи, который был таким нереальным и гипнотизирующим, что смерть человека по сравнению с ним прошла незамеченным эпизодом; передать то чувство окрыленности и ритмичности, которое должно было бы присутствовать в нас всю жизнь, а не одну только ночь, так чтобы мы смутно воспринимали окружающее и принимали жизнь как нечто неважное и второстепенное – чем она на самом деле и является, несмотря на кажущийся парадокс, для человека, который живет, а не просто существует... Потому что самое важное всегда заключено только в нас

самих.

1923

Иншалла [16 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Клерфэ медлил, потому что на восточном краю пустыни еще был виден караван, прошедший два часа назад мимо палаток. Он шел из Багдада в Басру. Верблюды были тяжело нагружены резиной, ладаном, пряностями и английскими металлическими товарами. При ходьбе они покачивались, как финиковые пальмы, когда начинается самум. Резко очерченные темные силуэты погонщиков выделялись на фоне вечернего неба, словно были сотканы из мрака. Волнами накатывали фиолетово-синие сумерки; через час станут видны все звезды.

Если бы он взял кобылу Узкобедрой, он бы догнал караван еще до наступления ночи, потому что кобыла любила его, и он знал слово, которое нужно прошептать ей, чтобы она, словно вихрь, обогнала даже скакуна шейха. К тому же начальник каравана, отведав Клерфэ в сторону, посоветовал ему идти с ними, потому что с этими бедуинами опасно иметь дело, а вон тот тощий парень – черт побери – разве не похоже, что он так наблюдает за ним потому, что влюблен.

Клерфэ медлил. Но потом им снова овладело то странное чувство, что он испытал однажды на охоте, когда антилопа, в которую он попал на два сантиметра ниже, чем надо, умирая, посмотрела на него бархатисто-темными глазами. Клерфэ опять ощутил себя таинственным образом приподнятым над жизнью, словно прошлое и будущее, внезапно отрезанные, куда-то пропали, сила притяжения исчезла, и все стало таким странно знакомым. Палатки, кусты колючки, караван на горизонте, бормотание арабов в палатке, тушканчик у ног, кактус с красными крапинками, перед которым он сидел на корточках, – будто бы все это уже когда-то было. Клерфэ опомнился: он впервые оказался здесь и никогда не бывал в похожем месте, но чувство все-таки не проходило. В Клерфэ росло ощущение некой роковой взаимосвязи. Может быть, открылась дверь, которая до сих пор была заперта? Или приподнялась завеса бытия, обнажив основы мироздания? Разрушились чары? Завершился какой-то круг? А ведь когда-то все это уже было. Индейцы порой рассказывали странные легенды...

Но если такое уже однажды было, почему оно не может повториться? Клерфэ иронично посмеялся над своей софистикой и вместе с тем почувствовал, что она вырвала его из чар и вернула событиям игривую неповторимость случая, а следом пришли свобода решений и гибкость поступков. Он вошел в шатер.

Узкобедрая лениво приподняла ногу с золотыми браслетами. У девушки были очень большие миндалевидные глаза. На животе виднелись синяя и красная татуировки; пупок позолочен. Ногти она выкрасила хной, выменянной у проходивших мимо торговцев-турок.

Клерфэ быстро поцеловал ее и взял несколько фиников. Она прошептала ему на ломаном французском, что шейх ускакал в соседнее племя, дабы забрать приманку для леопарда. Клерфэ равнодушно кивнул и отложил финики; они были невкусными. В палатке чувствовалось что-то чужое и новое; он пока еще не знал что.

Пока он оглядывался, Узкобедрая ворковала с ним, потом вдруг резко вскрикнула и слабо вцепилась зубами в его руку. Браслеты зазвенели, дыхание сделалось прерывистым, она издавала низкие гортанные звуки. Ее кожа мерцала в сумерках, словно ковкая медь.

Клерфэ осторожно высвободился и положил девушку на циновку в углу палатки.

– Дуду гоо, – сказал он, не погладив Узкобедрую и даже не посмотрев в ее сторону. Теперь он понял, что ему не нравилось в палатке – запах хищника. Потом он обнаружил дыру в углу и заглянул в нее. Снаружи он увидел двух гепардов на цепи.

Это были гепарды из Малой Азии, потому что шерсть на их спинах была грубой, а бока – пятнистыми. Линии скул и передних лап были очень благородны. Почуввав его, звери зарычали. Один подошел совсем близко и принялся. Он чуял существо чужой расы. Гепард остановился и взглянул на Клерфэ. Блестящие зеленые глаза были абсолютно неподвижны.

Клерфэ замер и не отрываясь смотрел в глаза хищника. Он забыл об Узкобедрой, которая для него позолотила пупок и выкрасила ногти хной. Не чувствовал, как она трясла его. Хотела оттащить. Касалась грудью его щеки. Гладила его.

Испугалась. Отползла в угол. Подтянула тонкие колени и уселась неподвижно...

Резко стемнело. Человек и зверь молча лежали друг против друга. Узкие глаза гепарда расширились. Зрачки увеличились. Они горели темным пурпуром. Глаза пылали. Клерфэ лежал не двигаясь.

Зверь вдруг отскочил в сторону и дружелюбно зарычал. Зазвенела цепь. Послышались голоса. В шатер вошел шейх, за ним – Тощий. Он увидел, что темно и что Белый наедине с Узкобедрой.

Шейх сказал, что рано утром будет охота с гепардами и что нужно приготовить для зверей колпаки. Еще несколько людей вошли в шатер. Сказочник рассказал историю про эмира, страдавшего любовным недугом, и про жену водовоза, которая излечила его. Но Клерфэ был рассеян и молчалив. Спать легли рано.

На следующее утро Клерфэ разбудило фыркание зверей. Он быстро встал и вышел из шатра. Пустыня в утреннем тумане напоминала покрытый тонкой глазурью оттиск акватинты на золоте. Поблескивали зубы лошадей. Шейх надевал на гепардов колпаки. Затем тронулись в путь.

За солончаковыми растениями и кустами колючки обнаружили несколько павианов. Огромными прыжками они умчались в заросли тамариска, будто их и не было. Вдруг лошадь Клерфэ испугалась и задрожала. На земле свернулась в кольцо черная лента – гадюка.

Когда подъехали к мясистым кустам алоэ, среди которых росли одиночные бальзамовые деревья, Тощий заметил стадо антилоп. Все поскакали за ближайшую гряду холмов, чтобы приблизиться к животным с подветренной стороны. Потом шейх с гепардами осторожно пробрался вперед. Подойдя достаточно близко, он снял со зверей колпаки и отвязал их. Те почуяли запах и осмотрелись. Потом беззвучно поползли по земле.

Козел с седой бородой резко вскинул рога. С холма скатилось несколько камней. Свист – и вот уже все стадо удирает на полном скаку, а за ним – хищные кошки. Все вскочили на коней и ринулись следом.

Тонкие, вытянутые антилопы неслись по песку пустыни длинными прыжками, едва касаясь земли.

Но гепарды преследовали их; подобно серым молниям, неслись они вперед: беззвучная, наступающая смерть.

Клерфэ видел, как сокращается расстояние, как хищники мощными прыжками приближаются к добыче, он чувствовал жажду убийства, которая сообщала их стальным лапам эту необыкновенную выносливость. Разве внутри него не росла, не сплеталась, словно паутина, звериная ярость? Она рвалась наружу, скрючивала пальцы, пробегала дрожью по всему телу, захлестывала темной волной, смывая с него что-то: имя, жизнь – все равно. Не превратилась ли его кожа в шкуру гепарда, не его ли это рык раздался? Он резко крикнул и с силой пришпорил кобылу.

Гепарды были уже на расстоянии нескольких метров от стада. Тут вожак остановился, выставил рога. Но бежавший первым гепард гибко прыгнул на него сбоку, вцепился в загривок и прокусил вену. Кровь залила голову хищника. Козел пошатнулся и рухнул. Жаждущий крови зверь тотчас отпустил его и убил козленка. Тем временем второй раздирал живот беременной антилопы. Лишившееся вожака стадо развернулось и помчалось на всадников. Защелкали затворы винтовок, лошади понеслись галопом, стадо разделилось, началась травля.

Когда Клерфэ снова обрел способность мыслить, он обнаружил, что остался один в долине. Он соскочил с кобылы и похлопал ее по шее. Перед ним около кактуса с красными крапинками сидел тушканчик. Клерфэ усмехнулся.

Он видел, что Тощий целится в него. Вдруг подумал: я должен посмотреть на него! Остановить его взглядом! Крикнуть ему, что насчет Узкобедрой все неправда!

Но потом им снова овладело то странное оцепенение; замерев, он вновь оказался во власти прежних чар. Но разве он не хотел очутиться в них снова?.. Усилием воли он поднял голову и улыбнулся.

Тощий не мог понять, ирония это или что-то другое. Он выстрелил, и Клерфэ медленно упал. Лицом в песок. Там он и остался.

Кай [17 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

У залива Инглфилд доктор Кнудсен обнаружил не только паррии и некоторые виды камнеломки, но еще и гравилат. Значит, наступило лето. Через две недели снег стал влажным и начал проламываться под собаками. Участники экспедиции каждый раз все вместе вытаскивали застрявшие сани. Кнудсену с большим трудом удавалось уследить за инструментами и коллекциями, потому что эскимосы ослабли и норовили «потерять» тяжелые грузы. Наконец прибыли в Эту. Жители выбежали из домов, принесли путешественникам сало и мясо тюленей. Было решено переночевать и осмотреть коллекции, чтобы потом уже без специального оборудования предпринять поход к Северному полюсу. Правда, эскимосы пугали, рассказывая о судьбах последних экспедиций. Кнудсен колебался. Решили пойти к Каю, чтобы уговорить его отказаться от запланированного похода и отвезти богатые коллекции на Баффинову Землю – тогда они успеют вернуться отсюда вместе с китобоями. Но Кай только качал головой и не хотел ничего слушать.

Говорили, он учился в Стокгольме, но точно никто ничего не знал. По слухам, он был богат и пользовался уважением, у него была замечательная жена, которую он оставил безо всяких причин. Было известно, что он уже дважды пытался пробиться к Северному полюсу, один раз с Новой Земли, второй – по Берингову проливу. Теперь он прошел с эскимосами на собачьих упряжках от Земли Короля Вильгельма через паковые льды Гренландии до Эты.

Он искал в жизни то, чем мог бы наполнить свое существование. Он был слишком пронизательным и разумным, чтобы путать ослепляющие чувства и жар в крови со своими настоящими желаниями. Благодаря этому Кай быстро достиг той грани, за которой разверзается хаос. Так как к тому времени он забыл, что такое счастье, как сельскохозяйственный инспектор забывает со временем, что такое Троянская война, которую он изучал в школе, а, кроме того, пятьдесят или сто лет временного пребывания по эту сторону поверхности земли казались ему слишком коротким сроком, чтобы начинать что-нибудь полезное, он, не долго думая, направил свои усилия в одно русло: полет над безбрежными морями, над дальними, покрытыми вечным льдом вершинами, над

бескрайними просторами – только полет. В таком настроении он и начал экспедицию, которая должна была стать его судьбой.

Когда снегопад снова прекратился, Кай спросил, кто пойдет с ним. Вызвались Кнудсен и четыре эскимоса. На сани нагрузили оружие и запас провианта на два месяца. Собаки отдохнули, и теперь их хвосты стояли торчком. Вскоре Эта исчезла в облаке снежной пыли.

Когда они пересекли ледник Гумбольдта, Кай подстрелил двух тюленей, а Кнудсен – овцебыка. Сделали привал на два дня. Дальше на восток растительность постепенно прекратилась. В последующие дни удалось добыть двух тощих зайцев. В конце концов пришлось пустить в ход запасы провианта. По вечерам над линией паковых льдов Земли Вашингтона висело полярное сияние, медленно распадавшееся на зеленые и желтые полосы. Но последняя красная полоска светилась над горизонтом всю ночь. Шел снег.

Собаки очень медленно продвигались вперед; ветер почти сносил их с ног. Животных перевели на половинный рацион. Ночью три собаки перегрызли кожаные ремни, которыми они были привязаны к колышкам перед палатками, и сожрали самое хорошее мясо. Кнудсен заболел. Эскимосы сообщили, что видели, как по берегу, переваливаясь, уходили от океана пингвины. Наступала суровая зима.

Дарьяк, лучший охотник на тюленей, предложил Каю повернуть назад. Но тот только покачал головой и даже не стал слушать.

Наконец добрались до фьорда Де-Лонга. Но хотя здесь и попадались участки воды, не покрытые льдом, тюленей видно не было. Кай приказал закопать бутылки с сообщениями о ходе экспедиции и установить над ними каменную метку. Потом он подсчитал, сколько осталось провианта. Его хватало еще на месяц. Кнудсен очень ослаб. Он сказал Каю, что это безумие. Но тот только улыбнулся в ответ.

На следующий день на широте 83°12' они обнаружили установленную в гряде камней перекладину от саней, а поблизости следы белых медведей. Через четыре часа нашли медный цилиндр с сообщением Локвуда от 12 февраля 1882 года. Только день спустя им удалось откопать пакет с провизией. Банки с пеммиканом [18 - Пищевые консервы у североамериканских индейцев,

например, вяленое мясо.] хоть и долго пролежали, но их содержимое казалось совсем свежим. Кай велел забрать четыре банки, а остальное закопать, чтобы на обратном пути у них был запас. Потом пошли дальше.

Растительность совсем исчезла. Двое саней сломалось, но их кое-как удалось починить. На небе все чаще появлялось северное сияние. Отощавшие собаки упрямо ложились на снег; они не могли больше идти. Приходилось слезать с саней и идти впереди собак, чтобы они шли следом. Животные покрылись струпьями, их шерсть поблекла. Хвосты повисли. У Кнудсена, кажется, началась цинга. Кай хранил молчание.

Ветер начисто подмел ледники и подталкивал боязливо поскуливающих собак с санями на блестящем льду. Кай приказал сделать для них «тапочки»-камикры из меха и привязать к лапам. Вскоре после этого Дарьяк провалился в расщелину, покрытую снегом, и сломал руку. Собаки отказывались идти дальше. Кай распорядился убить трех из них и скормить их мясо остальным; те рычали и только на следующее утро согласились съесть жесткое мясо.

Тогда все пришли в палатку Кая. Но никто не хотел начинать разговор. Наконец Кнудсен решился. Они уже на расстоянии двадцатипятидневного перехода от склада. Провианта осталось всего на двенадцать дней. Если выдавать половинные порции, то на двадцать четыре. Собаки истощены, люди исхудали и заболели. Нет смысла пытаться продвинуться вперед хотя бы на шаг, потому что потом не будет сил вернуться. Да и сейчас возвращение более чем сомнительно.

Кай долго смотрел на него. Потом сказал:

– Ты прав. – Он пошел к саням, оттолкнул одни из них в сторону. Взял пять собак и привязал их к колышку в снегу в стороне от других. Уложил на сани провиант и сказал Кнудсену: – Нас шестеро, у нас шесть саней и тридцать две собаки. На одного человека приходится одни сани и пять собак. Верно? – А когда тот, не понимая, кивнул, Кай спросил: – Там на санях не слишком много провианта для одного?

Кнудсен покачал головой. Кай, уже отвернувшись, сказал:



– Вы завтра поедете назад. До склада доберетесь, если забудете и съедите еще пять или шесть собак. Продуктов вам должно хватить до бухты Гумбольдта. Там вы, может быть, найдете зайцев или тюленей. Если нет, снова будете есть собак, а в пятидесяти километрах от Эты разобьете лагерь, залезете в мешки и пошлете Дарьяка с последними собаками вперед, чтобы за вами пришли из Эты.

Когда Кнудсен вопросительно посмотрел на него, Кай бросил коротко:

– Я иду дальше...

Его невозможно было разубедить, хотя все очень старались, даже хотели применить силу. Когда Кнудсен стал доказывать, что это верная смерть, Кай сказал только:

– Я знаю... – Потом замолчал и посмотрел на север.

На следующее утро они наконец отказались от попыток уговорить его. Они должны были вернуться, иначе все погибнут от голода. Кнудсен плакал, когда целовал Кая на прощание. Потом они развернули сани.

Кай стоял перед палаткой и смотрел им вслед. Они что-то кричали ему и махали руками. Махали. Махали. В паковых льдах играли кобальтово-синие, нежные, как звуки скрипки, тени; очертания глетчеров светились, словно изумруды. Мир вокруг Кая блистал.

Машущие фигуры становились все меньше. На Кая нахлынули воспоминания о проведенных в мечтаниях ночах, библиотечных залах, о звуках колоколов, огромных лугах, облаках, об одиночестве; о едкой иронии жизни, о полетах над жаркими пропастями желания; о нежной женской груди и узких, очень холодных руках; о глазах и теплоте, теплоте и прекрасном самообмане.

Люди, все еще продолжавшие махать, исчезли за поворотом. Воспоминание пропало. Что теперь? Это – его жизнь? Он и сам не знал. Он уже забыл свое прошлое. Он запряг собак. Дал им поесть. И еще раз посмотрел назад. Вдруг все, что было вокруг, пропало, он забыл о понятиях жизни и смерти, смысла и цели, многогранность жизни исчезла; сверкая, открылась перед ним его снежная равнина, оказавшаяся по ту сторону слов и чувств. И теперь, когда он поднял ногу, чтобы сделать первый шаг в направлении Северного полюса, шаг, который

приведет его к смерти, он почувствовал неожиданный, несказанный подъем, будто эта экспедиция важнее всего остального, будто в эту минуту он наконец начинает жить и его существование наполнится смыслом; будто в безудержном порыве он вырвался за пределы своего существа, приблизился к тайне бытия, постиг смысл жизни. Казалось, небо стало его мозгом. Океан шумел в его артериях и венах. Он поднял руки и сделал шаг на север.

1923

Испытание Куна [19 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Когда старец Лао-цзы снова вернулся с перевала Хан-Гу в стране Джоу в провинцию Хунань, император устроил в его честь праздник в Лояне, на который пришел и Кун-цзы, пользовавшийся тогда уже большой славой, с несколькими своими учениками.

На закате аромат цветов персика усилился, и Кюн-Юйсан в одеянии дракона начала танцевать танец Парящей. На ее бледном лице глаза казались неподвижными; в ней чувствовались благородство и порода. Ее колени были так прекрасны, что Лю-Цзеки, поэт, заплакал.

А Лао-цзы спросил:

– Кун, что в Кюн-Юйсан можно было бы назвать вечным, что в ней ближе всего к истине?

Но Лю-Цзеки опередил Кун-цзы. Он воскликнул:

– Ее красоту! У нее ноги газели, а под коленом наверняка бьется голубая жилка – так белы ее руки.

В ответ старец улыбнулся, а любимый ученик Кун-цзы сказал:

– Ее украшения! Кажется, будто их изготовили демоны: так искусно они убраны резными камнями.

Но старец улыбнулся и посмотрел на Кун-цзы. Тогда тот ответил:

– Не ее красоту и не ее украшения. Но то Невыразимое, что стоит за ней. Тысячекратно переплетенные темные нити таинственной взаимосвязанности бытия иногда проявляются отдельным фрагментом, отдельным узлом в определенном человеке. Он становится мостом и факелом. Но вечен не человек, который освещает тайну, вечна сама тайна. В Кюн-Юйсан вечно искусство.

Старец снова улыбнулся, разглядывая светлячка, который запутался в его бороде. Потом он сказал:

– Если бы я спросил, что можно назвать самым мимолетным в танце Кюн-Юйсан, то вы, наверное, ответили бы: отблики света фонарей на ее оби и ярком шелке ее кимоно; потому что они изменяются уже в то мгновение, когда возникают, и исчезают, прежде чем возникают. Кун, ты знаешь тайную мудрость: если хочешь крепко завязать, сначала нужно растянуть. Мир можно познавать, не выходя из комнаты; чем дальше уходишь, тем меньше понимаешь. Избранный неподвижен, но он достигает цели. Покой – это больше чем буря, потому что он приходит и до нее, и после. Великое дело быстро не свершить. Великое должно быть недостижимым и потому казаться бесконечным. Высокие звуки не слышны. Идеальная жизнь кажется пустотой. Смысл бытия заключается в не-бытии. А вечное – в преходящем; здесь круг замыкается. Что может быть ближе противоположностей? О, вечность бликов!.. Разрешите мне на час спуститься к реке. Одному...

И он зашагал вниз через лес, мимо Лю-Цзеки, который в тени шелковицы целовал колени Кюн-Юйсан. Но Кун-цзы не видел их.

1924

Тот час [20 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Леди Кинсли хотела было обернуться, чтобы еще раз из-за пальм посмотреть на гавань и бухту Рио-де-Жанейро, но вдруг у нее появилось странное чувство, будто бы то, что оказывалось в поле ее зрения, выпадало из времени, становилось волшебным, заколдованным, превратившимся в бесконечность и неподвижность. Город был скован белым молчанием, на пляже беззвучно лежала волна прибоя, как небрежно брошенный у края моря кусок кружева, резные листья пальм, большие и молчаливые, словно вросли в жаркий полдень.

Игривый рой мыслей, которые, словно стая белых голубей, порхали в голове леди Кинсли, нарушили топорно-строгие линии, возникшие под влиянием пейзажа и сдерживавшие, словно сети, свободный полет. Подобно решетке, эти линии окружили ее мысли, воздвиглись над ними и вдруг без сопротивления одержали верх, словно рок, судьба.

Леди Кинсли, не в силах освободиться от наваждения, поняла, что наступила одна из тех минут, когда жизнь внезапно останавливается, а вещи приобретают такую странную и страшную силу, что человек делается совершенно беспомощным; привычная жизнь прекращается, и все связи исчезают. Леди Кинсли почувствовала, что в эти мгновения таинственного подчинения законам природы она оказалась во власти случая и даже незначительное происшествие может оказаться решающим для всей ее дальнейшей жизни.

У леди Кинсли прехватило дыхание, она словно была готова бесцельно жертвовать собой или ждала неизвестно кого. Леди Кинсли забыла, что она человек и способна к познанию, она чувствовала свое родство с природой, свою открытость и готовность ко всему.

Из-за угла показалась лама. Она медленно шла по серовато-голубым камням дороги. Рядом с ней двигался погонщик. Расстегнутая рубашка на его груди обнажала бронзовую от загара кожу. Запущенная борода оттеняла губы. Проходя мимо, он коснулся шляпы и поздоровался. Потом с громкими криками погнал животное дальше.

Его голос звучал, как колокол. Поднялся легкий ветер, листья пальм зашелестели, глухо зашумело море; леди Кинсли провела рукой по глазам: что

это было?

Она посмотрела вслед мужчине. Он медленно шел рядом с ламой. Ненадолго задержался перед низеньким домиком. Леди Кинсли посмеялась над собой. Чтобы доказать себе, что она не потеряла мужества и что ее страхи беспочвенны, она последовала за погонщиком и спросила дорогу. Он ответил коротко и дружелюбно. С неожиданным облегчением, преисполненная благодарности неизвестно за что, она протянула удивленному мужчине руку, которой он, помедлив, коснулся, и быстро пошла в долину, где ее ждала машина.

II

Фредерик О'Коннор принес леди Кинсли муаровые орхидеи, в середине их лепестков были пурпурные черточки. Она медленно вдохнула прохладу цветов и ощутила на щеке их бархатное стрекозье касание.

Беседа с Фредериком О'Коннором подействовала на нее так успокоительно, что это даже неприятно удивило ее, и она невольно задалась вопросом: а почему, собственно, ее надо было успокаивать? Мимолетно ей вспомнилось дневное происшествие, но она сразу отбросила эти мысли. Мир был слишком надежным и знакомым, чтобы думать об этом.

За чаем леди Кинсли почувствовала раздражение. Она постоянно возражала О'Коннору и сердилась, когда тот не соглашался. И хотя она прекрасно понимала, что не права, спустя некоторое время все повторялось. О'Коннор был удивлен, принял ее раздражительность за усталость и плохое самочувствие и решил быть с ней осторожней. Но леди Кинсли поняла это и снова рассердилась. В конце концов она сослалась на мигрень и ушла в свою комнату.

Леди Кинсли знала, что единственный способ улучшить плохое настроение – бесстрастно проанализировать душевное состояние. Она честно попыталась разобраться в себе, но результат ее не удовлетворил.

День был словно присыпан пеплом. Любимые привычки казались пошлыми и никчемными, традиции – бессмысленными. Будто буря в подсознании отменила все системы координат и привычные оценки. Появилось непонятное

беспокойство, с которым леди Кинсли не могла справиться.

Поездка в порт отвлекла ее. Скользящая под лодкой вода успокоила ее нервы, потому что она и сама не была спокойна, создавала ощущение полета и одновременно – чувство защищенности. На поверхности вода была прогрета солнцем, однако глубинные течения оставались холодными.

Ужиная с Фредериком О'Коннором, леди Кинсли внезапно поняла, что между ними принципиальные, сущностные различия. Удивительно, как она умудрялась не замечать этого раньше. Корректность, которую она ценила в нем, наскучила ей, тон беседы, как у старых добрых знакомых, показался леди Кинсли неприятно интимным. Она раздосадованно попрощалась.

Потом она велела подать машину и поехала в театр. Там она прослушала первый акт оперы. Прежде чем начался второй, леди Кинсли покинула ложу. Она нерешительно шла по фойе. Ее беспокойство превратилось в возбуждение, она ощутила легкую лихорадку, предчувствия обступили ее, как боязливые левретки.

Перед зданием театра свежий ветер вдруг нагнал на нее резкую тоску по ночному воздуху Корсерадо. Леди Кинсли тотчас отдалась ей, потому что эта тоска была самым сильным и ярким чувством за весь день и потому имела право на существование. Она пошла вверх по улице.

### III

Ночь была похожа на траурное платье, такими темными были тени, притаившиеся под деревьями. В листве запела одинокая птица; потом – шелест и тишина. Дорога была освещена луной. Леди Кинсли шагала по ней, наклонив голову, не поднимая глаз. Когда лунный свет упал на ее лицо, она огляделась.

Внизу лежал город, освещенный тысячами огней, словно сверкающее украшение на бархате ночи. У берега отблески света рисовали на спокойной воде дрожащие спирали. На юге огни карабкались по склонам прилегающих к городу гор. Они сверкали в горах, как светлячки. По морю тянулась сотканная из лунного света дорожка, на ней выделялась черная преграда Сахарной Головы, как тяжелые ворота перед заколдованным царством.

Леди Кинсли обернулась. Пальмы протягивали к ней свои перистые листья. И тут она вдруг все поняла.

Кровь ударила ей в голову; все барьеры пали, разрушились, разбились, смылись, забылись. Кровь пульсировала в висках, растекаясь, распространяясь по всему телу, пробуждая первобытные животные страсти. Дорога в призрачном лунном свете казалась сонной артерией, по которой текла серебристая кровь; казалось, сжавшееся в комок будущее, тяжелое, как пчелиные соты, притаилось за скалами у поворота. Мир был словно нераспустившийся бутон лотоса; одно дуновение – и он раскроется.

Леди Кинсли шла дальше, ничего не замечая. Она чувствовала, что ритм ее шагов совпадал со страстной пульсацией в крови, сомнамбулическое упрямство было ей защитой. Все ворота были раскрыты, печати со всех тайн сорваны. Все было просто и хорошо; и на все вопросы был один ответ. Он был по ту сторону слов и не мог затеряться среди других понятий. Надо было идти к нему, чтобы он обнаружился.

Леди Кинсли шла, ее подталкивали пульсация крови и внутренняя дрожь. Исполнением желаний стал вынырнувший из темноты низкий домишко, в котором светился красноватый огонек. Переступив через порог, она вдохнула аромат скотного двора, который показался ей до боли знакомым, и ничуть не испугалась, когда из комнаты вышел мужчина.

В полоске света, пробивавшейся из-за двери, она увидела бронзовую от загара грудь и расстегнутую рубашку. Тогда, осознав вечную участь женщины, она склонила голову. В смиренной детской позе ожидала она мужчину, который не знал, что происходило в ней, а просто молча, торопливо овладел ею.

1924

Ковровщик из Бейрута [21 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Мы уже целый день наблюдали заснеженные горные вершины Ливана, но погода была беспокойная, ветер дул с берега, поэтому «Энни Лейн» не могла пристать в Бейруте. Только к вечеру бриз успокоился, и мы бросили якорь на рейде.

Мортон хотел немедленно сойти на берег. Четырнадцать дней он видел только небо и воду, а по вечерам слушал меланхолические мелодии, которые наигрывал на гармони второй унтер-офицер. Нас доставили на маленькой шлюпке к причалу.

По сходям к нам кинулись торговцы апельсинами и менялы. Мы передали наши чемоданы бою-арабчонку из гостиницы. Писцы старались заговорить с нами, молчаливые бедуины пытались залезть к нам в карманы, нищие выпрашивали бакшиш, грузчики кричали, лебедки скрипели; теплый южный вечер с ароматом апельсинов окружил нас. На глинистых улицах городских окраин перед домами сидели на корточках жители. Их молчание после шума гавани завораживало. В одном из маленьких кафе мы заказали попить. Хозяин принес нам воду со льдом, а к ней – крошечные мисочки с лесными орехами, ягодами, нарезанной редиской, стручками гороха и кубиками холодной картошки. Он поставил все перед нами на пол и молча сделал нам «салям». Потом опять уселся на корточки и погрузился в мечты над своим наргиле.

Издали доносился шум моря. К нему примешивалась сонная, напевная речь владельцев магазинов, она монотонно текла между домами, над которыми сияли снежные вершины гор. Аромат апельсиновых рощ стал сильнее.

Мы спросили дорогу и медленно пошли через рощу к Собачьей речке. Она была каменистой и почти пересохшей. В ней отражалось голубое небо.

На обратном пути нас застигли сумерки. Ночь наступила внезапно, как только мы дошли до первых домов. Нам пришлось расспрашивать, как добраться до нашего отеля; но местные жители качали головами, закутывались в свои покрывала и торопливо проходили мимо. Так мы и шли наугад по темным переулкам в надежде попасть на оживленную площадь и там продолжить расспросы.

Перед нами в темноте что-то высветилось, видимо, белая одежда. Вдруг Мортон сказал:



– Это женщина.

Тень и свет переливались на ее одеянии. На бедрах платье натянулось; там оно казалось светлее. Было что-то странно соблазнительное в женщине, молча бредущей во тьме в неверном сиянии звезд. Случайное и безымянное всегда влечет и соблазняет.

Почти непроизвольно мы двинулись за ней. Ритмично, в такт ее шагов шла игра света и тени на спокойно ниспадающем арабском платье. Дома отбрасывали длинные, густые тени, окаймленные легким блеском. Улицы стали шире, где-то приглушенно закричал ишак; неожиданно, как выстрел, на площадь упал поток света из кафе. Оружейник, который раньше работал в Сан-Франциско, подсказал нам дорогу.

Когда спустя несколько дней я сидел на базаре и рассматривал монеты, ко мне подошел взволнованный Мортон и сказал, что опять видел ту женщину. Она шла в дом ковровщика. Купив еще несколько метликов с дырочками и два зазубренных, погнутых бешлика, я нерешительно пошел с Мортоном к тому дому.

Ковровщик сидел за работой. Он предложил нам подушки и сигареты. Мы разулись и устроились на подушках. Потом он поклонился и поприветствовал нас:

– Лельтак саиде.

Он хлопнул в ладоши, и появился слуга с маленькими чашечками мокко и несколькими кусочками хлеба. За ними последовал виноград и маслины.

Когда я торговался со стариком, желая купить маленький зеленый молитвенный коврик, вошла женщина. Она не была укутана в покрывало. Мортон подошел к ней и начал разговор. Я предостерегающе посмотрел на него. Он этого не заметил. Но старик улыбнулся.

Я спросил его, разве его жены не сидят в своих покоях. Он испытующе посмотрел на меня, потом сказал:

– Никто не может построить такие крепкие стены, чтобы женская хитрость не смогла их преодолеть. Непреодолимыми бывают только стены, созданные мыслью. Можно привязать человека к вещам, тогда судьба вещей станет и его судьбой...

Он рассказал, что по линии матери у него есть предки из Персии. Его отец ткал ковры. Его дед тоже провел жизнь, сидя перед пестрым шелком. На самом деле за всю жизнь можно сделать только один ковер: его отцу понадобилось тридцать лет, чтобы вы ткать молитвенный ковер для калифа. Он сам трудится над неоконченным ковром, который стоит сзади у стены, уже восемнадцать лет. Столько же, сколько его жене.

Я попросил разрешения посмотреть этот ковер. Он пригласил меня зайти. На обратном пути я упрекал Мортон, что он недостаточно осторожен; с мусульманами шутки плохи, когда речь идет о женщинах. Мортон рассмеялся и указал в направлении своего консульства.

Я часто смотрел, как старик работает. Ковер имел необычный узор. Из сплетающихся в орнаменте звериных морд складывались две фигуры. По краям их черты казались неестественными и застывшими; в середине они оживали, складываясь из колеблющихся линий. Фигуры уже были закончены, осталось доделать головы.

Молча выводил старик разноцветные линии; казалось, он не замечал, что Мортон шепчется с его женой. На натянутом холсте все чаще появлялся загадочный орнамент неземного голубого и пурпурного цвета сирийских раковин. Я часами просиживал в прохладной мастерской и смотрел на работу старика. В полутьме переходящие друг в друга цвета наполнялись таинственной жизнью; один цвет переливался в другой, они переплетались, как играющие кобры.

Старик уже приступил к головам своих фигур, когда Мортон сказал мне, что вечером он встретится с женщиной наедине. Мастер работал лихорадочно, быстро, почти не поднимая глаз и что-то бормоча себе под нос. О Мортоне он не говорил.

Несколько дней я был по делам в окрестностях Бейрута. А вернувшись, сразу отправился к ковровщику.

Был вечер. В мастерской горела открытая масляная лампа. Старик работал. Его жены не было. Мерцающий свет лампы освещал ковер.

Краски у основания ковра напоминали языки пламени. Холодные арабески, словно шипы, впивались в болезненно распростертую бледную плоть ковра. Нежное движение в середине замирало по краям ковра; здесь, в абстрактных орнаментах, таилась смерть, она словно раздирала когтями вопящие линии, доводила их до мертвого оцепенения, крепко вцеплялась в каждый оттенок цвета – так руки отчаявшихся пленных сжимают решетку. Ковер жил. Под желтыми торопливыми руками старика возникало бледное лицо. Мне даже казалось, что я вижу глаза Мортонна на бледном шелковом черепе.

Мортон вернулся в отель поздно вечером. Я просил его уехать вместе со мной, прежде чем старик что-то заметит и отомстит. Уговорить Мортонна было невозможно. Почти полночи он бредил о вечере в гранатовой роще на берегу реки. На следующее утро у него немного болела голова. Он принял хинин и встал, чтобы пойти в колонию.

Я зашел к старику и предложил ему продать мне ковер. Старик отказался, потому что работа еще не закончена. Я ответил, что хочу как раз незаконченную, и предложил ему тысячу соров. Он посмотрел на меня неожиданно злобно. Тут вошла его жена. Она была бледна и казалась больной. Старик не обращал на нее внимания, он смотрел только на свой ковер. Головы были готовы. Фигуры тянулись в стилизованных позах от края до края ковра.

Днем Мортон вернулся домой. Он жаловался на рвоту и лихорадку, со стонами хватался за голову и громко просил выстрелом согнать с его лба голубые и пурпурные когти. Ночью я привел врача. Когда мы вошли в комнату Мортонна, он уже был мертв. Рядом с ним лежал револьвер, в котором не хватало одной пули.

Я сразу же приказал арестовать ковровщика. Но он смог доказать, что точно в то время, о котором его спрашивали, он был в своей мастерской и как раз заканчивал большой ковер. Куда подевалась его жена, он не знал. Предполагал, что у нее была любовная связь с каким-то путешествующим европейцем; может быть, они сбежали вдвоем.

Озеро в ночи [22 - © Перевод. Е. Михелевич, наследники, 2011.]

Мы сняли поблизости от итальянских озер один из тех небольших домиков, где можно жить в полной изоляции от остального мира. Это было приземистое дряхлое строение с несколькими комнатушками. Штукатурка на стенах облупилась, а меблировка состояла из нескольких примитивных предметов первой необходимости с явными следами длительного использования. Двери не запирались.

– В наших местах не воруют, – сказал хозяин домика, когда показывал нам жилище, – да здесь и воровать-то нечего...

Обстановка нас не испугала. Наши большие чемоданы вполне способны были заменить шкафы, простая мебель соответствовала нашим желаниям, а что касается отсутствия замков на дверях... В индийской глуши мы жили в еще менее защищенных бунгало, а кроме всего прочего – при нас ведь были пистолеты.

Хозяин домика пообещал ежедневно присылать нам в помощь свою дочь Мариетту, поскольку жил с семьей неподалеку. Она могла и готовить для нас; кроме того, в нашем распоряжении был небольшой садик.

Из-за этого садика мы тут и поселились. Он был совсем диким и заросшим. Высокий скальный дуб осенял домик в полдень своей тенью; там мы повесили гамаки. Вдоль всех дорожек в густых зарослях вьющихся растений пышно разрослись помидоры, зрелые блестящие плоды висели плотными гроздьями на зеленых ветках. Фикусы огораживали садик с боков. Между ними высилась пиния, словно заколдованная египтянка, окруженная бронзовыми от загара варварами. Ветер не шевелил ее крону; жесткая, почти прямоугольная, изогнутая и устремленная ввысь, она будто была обрезана сверху по прямой линии и напоминала огромный светильник, в котором подрагивал голубой огонек неба. Виноградные лозы карабкались по южной стене домика и тяжелой волной растекались по крыше. На дорожках грелись под солнцем ярко-зеленые ящерицы. Когда земля вздрагивала от приближающихся шагов, они стремительно ныряли в гущу листвы, цветов и вьющихся растений. Частенько

они выглядывали из-под какого-нибудь куста и смотрели своими древними, странно окаменевшими глазами.

Мариетта помогла нам разложить вещи. Она была светловолоса и изящна; лишь разрез глаз выдавал в ней итальянку. На шутки Рэндолфа она отвечала молчанием. Спокойно и серьезно она доделала свою работу и вскоре попрощалась. Вечером мы лежали на берегу озера и глядели на заходящее солнце. Рэндолф рассказал мне об одной женщине из Каира, которая подарила ему на прощание небольшую фигурку, покрытую синей патиной, и очень просила всегда носить ее с собой, но смотреть на нее только после захода солнца. Теперь ему иногда кажется, будто лицо у этой статуэтки величиной с пряжку похоже на лицо той женщины, и он понимает, почему она сказала, что каждый раз, когда он посмотрит на фигурку, она будет чувствовать нежное прикосновение его рук.

Стемнело. Рэндолф умолк. Словно скрытая дрожь, пробежали по озеру сменяющие друг друга краски. Пурпурное облако, как по волшебству, нарисовало дорожку на воде и пронизало светом ее верхний слой; однако глубже свет пробиться не смог – его отразил глубинный кобальт. Под ним причудливо извивалась полоса мрачного черно-зеленого цвета. Быстрые виражи подплывающих рыбок отбрасывали на нее светлые блики; в прозрачной воде было видно, как они всплывают и мгновенно соскальзывают вниз – стремительные водные метеоры.

Вечерний ветерок усилился. Он донес к нам ароматы сада. От озера повеяло прохладой. Свинцово-серая ночь поднялась от озера и раскинулась шатром над нами. Кроны оливковой рощи зашумели. С западного берега слышалось громкое пение лягушек. Среди фикусовых крон внезапно повисла огромная грустная луна. Вскоре она, уже в форме ковчега, появилась над пинией. Потом луна как-то нерешительно соскользнула на свободный кусочек неба, который терпеливо ее дожидался, но все же оставила темным силуэтам деревьев тоскливую светлую кайму.

Через час луна одна царила в небе, изменив все вокруг. Она превратилась в мечту, окруженную серебряным ореолом. Шум приобрел звучание, движение стало жестом, весомость – легкостью. Слово мерцающий опал слабо светилось озеро и фосфоресцировало в матовом блеске. Горизонт обхватил мир размытой кромкой. Нематериальный свет поднимающегося по небосводу созвездия пронизал все вещественное своим космическим ритмом. Ночь запела.

Лишь спустя какое-то время мы поняли, что это пели люди. Голоса доносились с противоположного берега озера. Там пели девушки, их голоса далеко разносились в прозрачном воздухе. Это была народная песня, грустная и прекрасная, – такая старинная, давно забытая песня, которую не найдешь в книгах. Звуки ее ветер донес к нам над водой, словно из какого-то другого мира.

Тут девичьим голосам ответили с другого, более удаленного берега, и пение это звучало уже глуше, словно призрачное эхо с неба. Другие голоса подхватили песню, мягко вступил альт, сочные басы парней превратили мелодию в некий мистический хор, который громко прозвучал над ночным озером и вскоре умолк.

По озеру, казавшемуся черным в ярком свете луны, двигалась лодка с убранными внутрь веслами. В ней, выпрямившись во весь рост, стояла обнаженная девушка. Внезапно она, держась за края лодки, свесилась вниз и скользнула в воду. Другая девушка последовала за ней. Обе закружились в серебряном вихре брызг, временами воздевая из воды руки, полные света.

Вдруг где-то совсем рядом незнакомый голос вступил в далекий хор. Он был насыщен переполняющей душу пенящейся страстью, только что зародившейся и уже пышно расцветшей. Слово вечерний колокол, звучал этот голос, заглушая более низкие звуки ветра, воды и приглушенного эха, звонкий и вибрирующий, как кристалл несбывшихся желаний и грез, утонувших в слезах, бешеный и нежный и в то же время печальный, как сама ночь.

Мы удивленно переглянулись.

– Это Мариетта, – прошептал Рэндолф.

Мы прислушались. Наверняка то была она. По голосу можно было понять, что она без одежды, ибо голоса обнаженных женщин по-особому звучат над озером ночью. Она умолкла, и сразу послышался плеск воды. Вскоре мы ее увидели. Она поплыла на самую середину озера. Мерцающая борозда вздымалась за ее плечами.

Когда серьезная и замкнутая Мариетта на следующее утро пришла к нам, она сразу же принялась за работу. Рэндолф, уже успевший порыбачить, влетел в дом с серебристой рыбиной в руках, собираясь поджарить ее на решетке. Он был в

прекрасном настроении и пытался разговаривать Мариетту; но та едва цедила слова и почти не отвечала на его вопросы.

Однако каждый вечер мы слышали ее пение – она словно вырывалась из заколдованного дня под действием предательских чар. Рэндолф стал молчалив и погрузился; с Мариеттой он говорил почти униженно. Ему даже не удалось уговорить ее поглядеть ему в лицо. Она робела и старалась не попадаться ему на глаза. Но он все равно с нетерпением ждал вечера, ведь он был молод.

Днем накануне отъезда Мариетта помогла нам упаковать чемоданы. Поскольку мы собирались выехать утром, а Рэндолф к тому же неважно себя чувствовал, он лег спать в полночь. А я решил еще немного побыть в садике.

Ночь была безветренная и лунная. Звезды буквально усыпали небо. Слово дым от затонувшего космического корабля, тянулся по зениту Млечный Путь. Озеро было гладкое, как зеркало. С другого берега доносились обрывочные звуки. Грустная пастушья мелодия, исполняемая на волынке. Вперемежку с ней слышалась флейта, а иногда и скрипка. Скрипка звучала довольно невыразительно.

Тут в кустах что-то треснуло. Ящерицы прыгнули во все стороны, сверчки умолкли. Чья-то ладонь отвела в сторону вьющиеся стебли, за ней показалась рука до плеча, потом ступня и белое колено – девушка, не заметив меня, медленно шла напрямик к дому. Широкая лунная дорожка протянулась перед дверью. Девушка ступила на нее, и ее осветило, словно прожектором: золотом поблескивали плечи и бедра, матовые фиолетовые тени залегли под мышками и чуть ниже талии. Дверь приоткрылась, и мрак цвета умбры, словно темная ряса, поглотил светлую фигуру девушки.

Она уверенно, как лунатичка, направилась прямо в комнату Рэндолфа. И неожиданно бросилась на спящего, с хриплым воплем обхватив его руками. От прикосновения влажной кожи к глазам Рэндолф проснулся, сел, мгновенно осознал реальность, скорее похожую на сон, и узнал Мариетту.

Еще не совсем освободившийся от сна, перенесенный из безвременья и бесконечности в тепло и радость нежданно свалившегося на него счастья, Рэндолф не выдержал внезапной атаки молодой крови. Она захлестнула его с головой и возбудила до такой степени, что он сам себе показался сказочным

великаном. Рэндолф вскочил, не понимая, что произошло и происходит, и схватил девушку в объятия. Она вырвалась, он вновь схватил ее, она удрала в садик. Он бросился следом, задыхаясь от бега и душевного волнения. Она кинулась к озеру. Он очертя голову – за ней, и вода забурлила фонтанчиками, словно приветствуя желанных гостей. Началась захватывающая дух гонка; вода плескалась и хлюпала под ударами ищущих и манящих рук. На миг над водой показалась голова Мариетты, казавшаяся зловещей из-за черных бровей над темными провалами глаз.

Рэндолф хрипел и задыхался, прорываясь сквозь толщу воды. Он бил по ней ладонями, словно наказывая воду за то, что она поддавалась ему недостаточно быстро. Гребешки пены обрушивались на его голову, залепляя ему глаза и лишая его возможности видеть девушку. Упоенный азартом схватки с водой, он входил в озеро все глубже и глубже и чувствовал, как мягко вода встречала его колени, как она обтекала его и смыкалась за ним, ласковая, уступчивая, нежная и ненасытная. Он воспринял ее игру как проявление какого-то загадочного единения и впадал во все возрастающий экстаз: избыток чувств распирал его, подбрасывал вверх, выражая себя в словах, которые вырвались из глубины души как зов и вскрик: «О... вода... Ты женщина... в тебе... все... все...»

Земля исчезла под его ногами, и он поплыл вдаль, сильно и равномерно разгребая воду толчками. Внезапно из вскрика родилась песня, мощная, опьяненная ночью, водой, звездами и блаженной любовью ко всему существу. Рэндолф пел и плыл, могучими взмахами рук раздвигая несущую его стихию, пел без слов, без смысла, почти не осознавая, что делает, целиком занятый собой и своим чувством.

Он повернул обратно, оборвал пение и поплыл к берегу. Когда он вылезал из воды, с него текло, он весь был покрыт водяными жемчужинами, стройный и прекрасный. На миг он вдруг замер на месте – в такой позе, будто вода все еще захлестывала его шею и плечи. Потом с поникшей головой зашагал к дому.

У двери его ждала Мариетта, смиренная и готовая на все. Но Рэндолф ее не заметил; он совсем забыл, зачем выбежал во мрак ночи, и прошел мимо девушки. Она за ним не последовала. Может быть, догадывалась, что ему надо побыть одному и поразмыслить о причине, толкающей женщину к мужчине?

Она за ним не последовала.



Когда я зашел в его комнату, он крепко спал, рухнув поперек своего ложа. Утром мы уехали. Нас никто не провожал.

1924

Гроза в степи [23 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Жара, как ленивое животное, опустилась на ферму. Собаки спали в тени, у колодца кричали метиски, два креола спорили в подворотне за грязными картами, и монотонно кричал в своей клетке синий какаду.

Цепь коричневых холмов раскинулась за гасиендой, подобно сброшенной монашеской рясе. По холмам взбирались гнущиеся от ветра кусты ежевики. Вокруг холмов были песчаные лагуны, в которых поблескивала серая соль. Потом начиналась степь, покрытая травой и дрожащей раскаленной дымкой.

Через окно, занавешенное от комаров марлей, пробивался молочный свет; несмотря на открытые окна, было душно и тяжело. Ру лежала на кушетке и не двигалась. Многое вокруг было ей непонятно, тут кипела жизнь, которой она не знала. Всего неделю назад она приехала с Норманом из Рио-де-Жанейро на его ферму. И теперь ей так не хватало моря и побережья, что она чувствовала робость даже перед мужем.

Переодеваясь, она услышала, как открылась дверь. Девочка-китаянка принесла полотенца и охлажденную воду. Ру взяла у нее и то и другое, но девочка осталась в комнате. Она взяла блюдо и положила в него сильно пахнущие цветы. Когда Ру погладила ее по руке, та улыбнулась раскосыми глазами, но не произнесла ни слова.

Вошел Норман и склонился над Ру. Мимо лесов, в которых охотился Норман, прошел караван мулов из Сьерра-Кордова. Начальник каравана хотел обменять шкуру ягуара на необработанные агаты. При этом он показал индейскую нитку из опрaвленных в золото карнеолов и аметистов. Норман купил ее и принес Ру. Она надела нитку на пояс, но все равно оставалась грустной.

Когда вечерний ветер прогнал духоту, она покормила черепаху, жившую в саду. Каждый раз, когда животное подползло к ней, у Ру появлялась одна и та же ассоциация: камень ожил. Это сразу вырывало ее из ограниченного круга дневных мыслей. Жизнь словно приобретала многообразие и призывно пробивалась из кустов и камней. Ей казалось, что нужно только вспомнить какое-то забытое слово, чтобы и неподвижный мир очнулся от своего тупого зачарованного сна и присоединился к миру органической жизни. Может быть, камни скрывали плененную жизнь, которая в свете заходящего солнца сильнее стучала в неподвижную земную кору.

Черепаха отзывалась, когда Ру звала ее: «Н-ма». Странно приковывающим был ее вечный взгляд из-под морщинистых век. Чудилось, вокруг них должны расти хвощи и стрелолисты, которые некогда сотрясали ихтиозавры и гигантские ящеры. Но когда животное неуклюже тыкалось в кусочки мяса, оно было похоже на бедную, старую женщину, которая, погрузившись в свои мысли, торопливо поглощает обед.

Жара не спадала. Лениво бродили собаки. Сумерки окружали каждый шорох неестественным покоем. Между крышами и деревьями начали тревожно шуметь летучие мыши, кричали ночные птицы, акации пахли резко, как необработанная шкура, и в свинцовом блеске неясного света печально плыла красная луна; степь превратилась в коричневое серебро.

Ру подставила руки под жемчужные струи фонтана. Она чувствовала ритм тяжелого вечера, который был зачарованно-медленным, как пульс глубоко и спокойно спящего человека. Плечистый, Норман молча стоял перед степью, словно порт в море скользящего света.

– Давай проедемся верхом, – предложила Ру.

Когда они выехали, была ночь. Перед ними раскрывался простор, словно гигантские ворота, за которыми рокотало ожидание. Степь вдруг оглушительно зазвенела от топота. Откуда-то появились фыркающие мустанги, их окружили гаучо, и на тяжело вздымающиеся бока со свистом пали лассо. Когда ковбои узнали Нормана, защелкали револьверы, в яме затеплился огонь, гаучо спешили и подали Ру поводья.

Они рассказывали о гевеях у реки, о сборе каучука, о пумах и рыжих волках, которых они убили, о таинственных индейцах, которые, говорят, прячутся в лесах, и о странном свете, который иногда безлунными ночами появляется в пампе, как неясная угроза. Потом они сказали, что Мак должен поиграть им. Он был самым молодым. Но Мак посмотрел на Ру и запинаясь сказал, что струны на его гитаре порвались. Все замолчали.

Норман вытащил из седельной сумки табак, угостил всех и спросил о погоде. Гаучо сказали, что ветер принесет дождь; может быть, даже грозу. Норман свистом подозвал лошадей.

Некоторое время мужчины сопровождали их; потом одновременно повернули коней назад, помахали большими шляпами, прокричали несколько резких непонятных слов и галопом умчались прочь.

Тяжелая завеса темноты сомкнулась за ними, словно они торопливо тащили за собой ночь, как украденное добро. Глухо звучало эхо копыт быстро несущихся животных, как отстающие на такт подземные кастаньеты. Через час Норман остановил лошадей; они спешили, легли в траву и прислушались. Степь говорила; невидимые стада торопливо неслись в ночи, и их топот доносился по земле до прислушивающихся людей.

Когда они пошли дальше, держа коней под уздцы, им в лицо с такой силой ударила духота, будто раньше она притаилась, уцепившись когтями, на земле, а теперь попыталась набросить на людей предательские сети, чтобы утянуть их вниз. Животные заволновались и начали пританцовывать. Жара еще усилилась, она была клейкой, как трясина, она затрудняла дыхание, заползала в легкие, противная и тягучая. Над горизонтом выросли облака и поглотили луну. Небо над степью стало сернисто-желтым. Потом засверкали зарницы, и сквозь внезапную тишину пробился грохот. Стадо мустангов, подобно призрачной погоне, приблизилось к ним, развернулось, распалось и, потеряв вожака, нерешительно начало собираться снова. Ру почувствовала на затылке горячее дыхание. Жеребенок боязливо прижался влажными ноздрями к ее коже. Его шея дрожала, он дышал быстро и взволнованно. Лошадь Ру сделала резкое движение; жеребенок испугался, отпрянул, неподвижно застыл, а потом, фыркая, отошел. Животные начали подниматься на дыбы и кусать поводья. Они скидывали головы, их было трудно удержать.

Тут молния разорвала тяжелые облака. Следом загрохотал гром.

– В седло! – крикнул Норман.

Лошади заржали и помчались прочь. Низко, по самой траве промчался ветер, закружил смерч, бросая людям в лица пыль и мелкие камни. Потом он погнался за лошадьми, убегавшими бешеным галопом, – сплошь вытянутые спины, воплощенное бегство от гибели. Ярко вспыхивали на небе молнии. Языками пламени светились широкие отвесные скалы, между ними струились ручьи синего блеска. Под грохочущими ударами огромного топора раскололся небесный котел, молнии разорвали огромные вены бесконечности в мифической битве с ночью, которая снова и снова накидывала бархат тьмы на открывающиеся раны.

Мустанги теснились, вставая на дыбы вокруг дерева, белки их вытаращенных глаз таинственно светились в темноте. Самые сильные жеребцы были впереди, они били копытами и кусали воздух, чтобы защититься от опасности. Взрослые животные окружили жеребят.

Лошадь Ру помчалась к стаду. В следующее мгновение ее окружили взволнованные животные. В свете молний рядом с ней виднелись блестящие спины беспокойных мустангов, похожие на волны в бушующем море. Ру подняла ноги на седло, чтобы ее не раздавили, и натянула поводья.

Но кобыла больше не слушалась. Запах обезумевших сородичей опьянил ее, она громко заржала и встала на дыбы, чтобы сбросить наездницу.

Норман видел Ру среди мечущихся животных. Он ударил свою лошадь хлыстом по шее и начал пробиваться к Ру. Какой-то жеребец укусил его за руку, Норман ударил мустанга револьвером по голове и развернул лошадь, чтобы обогнуть табун с другой стороны.

По земле застучали первые капли дождя. От спин вспотевших животных поднимался пар. В воздухе стоял их запах, горячий, мощный, сильный, запах безумной гонки, от которой перехватывало дух, сумасшедший и пьянящий, – горячка течи и смертельного страха, проникающая в кровь и прогоняющая все мысли.

Вдруг степь всколыхнулась и загорелась, небо обратилось в бесконечно яркую вспышку, зигзаги молнии рвали мир на части, и он, полыхая, раскалывался в бездне света. Молния ударила в дерево. Почти все мустанги разбежались, а некоторые упали на землю и уже не встали. Дерево-факел возвышалось над гибнущим миром.

Когда захлестал дождь, Ру пришла в себя; ее волосы и одежда были в белой пене с крупа лошади. Она вдруг взбесилась. Отпустив поводья, Ру обняла шею лошади, пустившейся вскачь от обуявшего ее ужаса. Ру прижалась лицом к гриве, сама стала животным и стихией, скачкой, ужасом и порывом.

Кобылу спугнула вновь вспыхнувшая молния. Она помчалась назад. Норман попытался перерезать ей путь. Но лошадь шарахнулась в сторону, не узнав его. Началась погоня. Кони мчались почти вплотную друг к другу, едва дыша, люди кричали друг другу неразборчивые слова, которые уносил ветер. Хлопья пены попадали на их лица, под глазами Ру на побледневшем лице залегли фиолетовые тени, гроза возбуждала ее, порождая в ней экстаз, неукротимое желание, естественность и инстинкты.

Мощным прыжком Норман преградил путь взбесившейся кобыле, схватил ее за поводья, на полном скаку снял с седла Ру и пересадил жену к себе, он прижал ее к груди и, переполненный эмоциями, огласил ночь неистовым криком; он пришпоривал своего разгоряченного коня, пока тот не обессилел и не опустился на землю под потоками ливня. Всадники, вцепившись друг в друга, скатились к его ногам...

Когда дождь прекратился и луна снова осветила землю, Норман осторожно положил спящую жену на седло перед собой и поскакал домой; она даже не проснулась...

1924

Мальчик-тамил [24 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Стэнтон давно понял, что очарование жизни заключается не в ее смысле, а в случайностях и приключениях, из которых она состоит. Поэтому он любил разнообразить логичную размеренность своего существования маленькими неожиданностями и позволял внезапным порывам овладевать собою, потому что это придавало выразительность монотонным будням и сохраняло остроту переживаний. Самоуверенность позволяла ему исполнять самые причудливые капризы.

Однажды после обеда, когда скрип повозок и звон трамваев в Мадрасе окончательно наскучили ему, он внезапно решил поехать через Вишакхапатнам в Пури, чтобы купить там храмовую утварь и сфотографировать запрещенные для продажи святыни. Он решил сразу же отправиться в путь и переночевать в бунгало.

Бой, мальчик-тамил, который вот уже несколько месяцев сопровождал его, уложил в машину ружья, фотоаппараты и провиант, забрался на сиденье рядом с господином и по-детски счастливо пялился из окна на проносящиеся мимо дома, а машина, напоминая гигантского жужжащего шершня, неслась вперед.

Через несколько часов сквозь деревья стал виден Бенгальский залив. Солнце стояло над хрустально-прозрачным морем, казалось, будто синюю воду подсвечивает, нежно мерцая, неведомое подводное светило. Сады коричника тянулись почти до берега, источая сильный аромат. Очертания берега, напоминая чей-то мечтательный жест, пропадали на горизонте в потоках света.

Пейзаж был таким захватывающим, что Стэнтону показалось пошлым продолжать поездку по привычным обкатанным дорогам, и он решил углубиться по девственным тропинкам в чащу. Он свернул с дороги и повел машину сквозь джунгли, пока не достиг поляны, сплошь усеянной белыми орхидеями.

Здесь он остановился и, прихватив по привычке охотничье ружье, пошел вперед. Тишина вокруг восхищала его. Кроны деревьев, словно мистические купола церквей, источали приглушенный зеленый свет. Листья на них не шевелились. Время словно замерло под прикрытием мощных деревьев.

Внезапно какая-то светло-песочная тень скользнула с ветки на ветку. Почти не задумываясь, Стэнтон вскинул ружье, чтобы устранить назойливого нарушителя спокойствия, но сам испугался, когда прогремел выстрел. Испуганно взметнулась в небо шумная стая попугаев; где-то в глубине джунглей что-то засвистело, зашуршало; пробежало, тяжело ступая, какое-то крупное животное; и с дерева на землю, кувыркаясь, свалилось, глухо шлепнув, коричневое тельце. Бой побежал за добычей.

Он вернулся расстроенный. Труп обезьяны лежал в его руках, словно спящий ребенок. Он молча протянул его господину, а затем осторожно положил на землю. Стэнтон знал о суеверии индусов, знал, что «хозяин леса» – это табу, что убить обезьяну – значит накликают смерть. Ему самому стало беспокойно на душе, когда он увидел лежащего на земле зверька. По-детски неуклюжая голова покоилась среди орхидей, в полукрытых глазах блестел странный желтый огонек, тонкие лапки распластались на земле, а в маленьких лысых ладонях было что-то трогательно человеческое.

Стэнтон молча отправился к машине, желая как можно быстрее умчаться прочь; но мотор, несколько раз вздохнув, заглох. Пока Стэнтон копался в машине, к нему подкрался слуга-индус и спросил, можно ли похоронить труп. Стэнтон кивнул. Скоро тамил вернулся. Он то и дело озирался по сторонам, глаза его были полны ужаса. Он сказал, что видел кого-то в джунглях, кто-то стоял среди деревьев и махал рукой. Вдруг тамил вздрогнул и спрятался за машину:

– Вон... вон...

На краю опушки появилась обезьяна, она замерла в нерешительности, словно что-то искала. Когда Стэнтон подошел ближе, обезьяна скрылась в чаще. Бой тихонько притащил несколько камней, чтобы завалить ими могилу. Устранив поломку, Стэнтон проехал небольшое расстояние, затем прокрался назад и стал наблюдать за поляной. Тамил последовал за хозяином. Длинными прыжками обезьяна подбежала к могиле и начала отодвигать камни. Когда Тамил увидел, что животное пытается раскопать могилу, он прошептал:

– Сахиб... он искать... другого...

Внезапно Стэнтон вспомнил: застреленная обезьяна была самкой.

Они ехали около четверти часа, когда Стэнтон понял, что заплутал. Он решил поехать по ослиной тропе, надеясь, что она выведет его на шоссе. Наконец заросли пальм, хлебных деревьев и бамбука уступили место низким кустам, дорога стала шире.

Бой положил ему руку на плечо. Оказалось, они сделали круг и снова вернулись на поляну. Между деревьями показалась маленькая согнутая фигура.

– Сахиб... он угрожать, – испуганно пролепетал тамил и забился в угол.

Стэнтон прикрикнул на него. Но непонятное волнение заставило его остановить машину и подойти к животному. Зверек не убежал, продолжая окровавленными пальцами отдиирать тяжелые камни, под которыми лежала его подруга.

Потрясенный, Стэнтон вскочил в машину и рванул прочь. Так и не достигнув шоссе, машина остановилась: мотор зачихал, застучал и заглох во второй раз. Пока Стэнтон чинил его, наступила темнота.

Лес ожил. Черные ветви отбрасывали безмолвные тени. Попугаи кудахтали и хохотали на ветках деревьев. В кустах что-то сопело и чавкало, большая птица пролетела низко над дорогой, ночные бабочки танцевали в лучах фар. Раздался протяжный крик, еще раз, ему ответил другой, эхо повторило эти крики, пронзительно и грустно жаловались в ночи стаи обезьян.

Бой задрожал и отодвинулся от хозяина.

– Хозяева леса зовут тебя, сахиб, – жалобно сказал он.

Ужас суеверного индуса настолько взволновал Стэнтона, что он забыл свернуть на нужную дорогу и снова поехал по той же тропе. Поняв свою ошибку, Стэнтон разразился проклятиями, когда снова выехал на поляну.

Едва узнав место, индус широко раскинул руки и закричал от ужаса, а увидев промелькнувшую между прозрачно светящимися орхидеями тень, начал биться головой о борт машины. Ничего не соображая от злости, Стэнтон схватил ружье, чтобы выстрелом в воздух напугать и прогнать животное и успокоить индуса.



Тамил подумал, что его господин хочет застрелить и вторую обезьяну. Широко раскрыв глаза, он ухватился за ружье. В ярости от сопротивления цветного мальчишки Стэнтон потянул ружье к себе; но бой навалился на ствол всем телом. Обхватив оружие обеими руками, он умолял:

– Сахиб... не стрелять...

Бой терпеливо снес все удары и пинки, которыми осыпал его рассерженный Стэнтон, пока хозяин не вытащил его из машины и не освободил ружье. Но прежде чем Стэнтон успел поднять оружие и спустить курок, за его спиной раздался крик, такой мучительный и пронзительный, на который способны только лошади в предсмертном страхе, он почувствовал тупую боль в спине, зашатался и упал.

Когда ружье выскользнуло из судорожно сжатых пальцев хозяина, бой застонал, уронил нож и, рыдая, опустился на землю рядом со Стэнтоном.

– Сахиб... сахиб...

Так он просидел всю ночь.

Когда забрезжило утро, он перевязал хозяина и потащил его на дорогу. Проезжавший мимо автомобиль довез обоих до Мадраса. Прошло много времени, прежде чем Стэнтон поправился.

Бой служил у него еще много лет, но Стэнтон никогда не говорил с ним о той ночи...

1925

Трофей Вандервельде [25 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Мы сидели на пляже и долго слушали прибой, который рокотал, грозно ворча во тьме, словно подземное божество, пока поднявшийся ночной ветер не успокоил его, и тогда он постепенно превратился в ритмичный шум. Сквозь перистые листья пальм у нас над головами было видно огромное и величественное ночное небо, с которого лился свет звезд, будто золотистое вино из чаши черного алебастра, выплеснутое спьяну в хмельное море на пиршестве бессмертных. Пенистые барашки отбрасывали фосфоресцирующий свет на беспокойную воду, так что казалось, будто небо и море, играя, бесконечно перекидывают его друг другу.

Ничто так не волнует кровь и не приводит дух в мятежное и тоскующее состояние, как шум ветра и морской прибой. Поэтому мы молча поднимались по эспланаде, занятый каждый своими мыслями, к гостинице «Лицо Галле», чтобы вместе провести вечер в холле.

Тут почти никого не было. Английская семья, которая что-то выписывала из путеводителей; усердно перешептывающаяся молодая пара – наверно, у них был медовый месяц; и один голландец с покрасневшей лысиной, широкий и массивный, который сидел за столом и то и дело выкрикивал:

– Boy, one whisky more! [26 - Бой, еще виски! (англ.)]

Оле Хансен помешивал ложкой воду со льдом. Последнее время по вечерам он часто впадал в меланхолию и рассказывал сентиментальные истории о белых фьордах и утреннем тумане над горными озерами. Мы терпеливо слушали его, потому что самое лучшее – рассказать о том, что тебя тревожит, тогда все это скорей пройдет. Несколько недель назад Оле Хансен узнал о смерти женщины, которая была частью его юношеских воспоминаний, – а как раз такие простые, давнишние образы и происшествия иногда странно волнуют, если случайно снова наталкиваешься на них.

Мы были немногословны. И тут сквозь шум вентиляторов прорезался голос управляющего, сопровождавшего двух гостей. Вероятно, они прибыли на теплоходе, который после обеда причалил в гавани. Из слов управляющего можно было понять, что они вернулись из окрестных садов.

У мужчины было обветренное, рябое от оспы лицо, на котором по-особому выделялись волевые, глубоко посаженные глаза. Упругими шагами он шел

рядом с женщиной, лица которой почти не было видно; мы могли оценить только изящный изгиб шеи, когда она поднимала голову, чтобы что-то сказать мужчине.

Когда они проходили мимо нашего стола, мужчина повернул голову; широкий шрам наискось пересекал его лоб и упирался в угол левого глаза. На мгновение он подал женщине руку, она почти незаметно оперлась на нее, но в ее позе была такая интимность, что Мортон сразу же поставил диагноз: молодожены.

Оле Хансен покачал головой:

– Не думаю. Этот мужчина – Вандервельде, два года назад он получил приз Ниццы. Женщина сопровождает его уже год. Я видел ее с ним на кубке в Марселе, на трибунах в Церде во время «Тарго Флориа» и на гонках в Индианаполисе; но я ее не знаю...

Кинсли заявил:

– Это Лилиан Дюнкерк!

Мортон вскочил:

– Не может быть! Лилиан Дюнкерк невозможно удержать целый год. Я знаю Д'Астэна, в которого она стреляла, когда увидела его во время корсо [27 - Карнавальное гулянье.] с графиней Риччи; и несмотря на это, она бросила его через три недели.

Кинсли сделал Мортону знак, чтобы тот сел.

– Я понимаю, юность всегда категорична. Ты прав: эта Дюнкерк – самая красивая и беззаботная искательница приключений на континенте, и ее liaisons [28 - Здесь: романы (фр.)] почти всегда очень быстротечны. Поэтому о ней можно сказать «поверхностна и легкомысленна» и попытаться завоевать ее, делая ставку на эти качества. Но то, что из этого ничего не получается, доказывают напрасные усилия князя Штолля, которому принадлежит половина Батавии и который даже был готов жениться. Возможно, она ищет недостижимый идеал, но не может найти его, а потому бросает всех. А может быть, в ней есть и то и другое.

Но вот уже год она принадлежит Вандервельде. Вы удивлены, так как он не особенно умен, не особенно богат и не особенно интересен; но зов крови, как ничто другое, имеет свои законы. А так как я знаю подробные обстоятельства возникновения этой удивительной верности, я вам их объясню. Не бойтесь, трактата по психологии не последует. В такой задумчивый вечер это было бы настоящей безвкусицей.

Примерно год назад Вандервельде сидел в углу этого зала. Он только что проехал на своем автомобиле по гоночной дистанции, где старался как можно четче проходить повороты, отрабатывал управление и делал записи, чтобы закончить подготовку к гонкам. Он просматривал свои записи, стараясь запомнить их к следующему дню, и был так погружен в них, что не заметил, как мимо прошла Лилиан Дюнкерк.

Да он ее, вероятно, и не знал. Следом за ней шел какой-то подозрительно торопившийся мулат, который задел стул Вандервельде и неловко толкнул его. Извинения прервали размышления Вандервельде, и он решил выйти из отеля на вечерний моцион.

Приглушенный крик заставил его замедлить шаги. В неясном свете он увидел женщину, которая защищалась от какого-то мужчины. В мгновение ока он оказался рядом и свалил мулата апперкотом; тот упал, как мешок.

Потом, не обращая ни малейшего внимания на лежащего плашмя, захлебывающегося кровью мулата, Вандервельде поклонился и сказал:

– Простите, миледи, что я вмешался в ваши дела, не назвав предварительно своего имени и не получив вашего разрешения. Могу я проводить вас в отель или вы предпочитаете другую диспозицию?

Вы знаете, что на женщин всегда производит впечатление, когда о необычной ситуации говорят как о само собой разумеющемся и почти повседневном; потому что настоящему светскому человеку несложно оказаться на высоте в нормальной ситуации. Но Лилиан Дюнкерк привыкла к подобному поведению. После нескольких слов благодарности она собралась идти дальше – ее гордость была задета тем, что на нее напал мужчина. Но вдруг она увидела, что мулат поднялся с земли и тянет руки к шее Вандервельде. Она не могла говорить, но внезапно отразившийся в ее глазах ужас указал Вандервельде на опасность.

Он быстро сделал шаг в сторону, чтобы противник, нападая, промахнулся, наткнувшись на его плечо, быстро взглянул на Дюнкерк, сказал: «Pardon», обернулся и со сжатыми кулаками и такими страшными глазами пошел на мулата, что тот зашатался, хотя еще не получил удара, и во внезапном страхе бежал.

Успокойся, Мортон, я знаю, что ты хочешь сказать; это тоже не было для Лилиан Дюнкерк чем-то настолько необычным, чтобы она из-за этого так сильно привязалась к Вандервельде. Но в тот момент этого было достаточно, чтобы вызвать интерес; и она разрешила даже сопровождать ее на пляж.

Только теперь он увидел, кого защищал. Волнение от случившегося, которое он чувствовал, несмотря на все свое самообладание, – а уже одного этого достаточно для возникновения напряжения, превращающего ситуацию в событие, а ее преодоление в глубочайшее удовлетворение, – смешалось с сознанием, что благодаря неожиданному приключению он оказался наедине с прекрасной незнакомкой в тропической ночи, и превратилось в таинственный соблазн и фантастическое опьянение, которые дали ему внутреннюю уверенность, необходимую для продолжения этого приключения и доведения его до той силы выразительности, которую Оле Хансен как-то окрестил «бешеной кровью».

В такой ситуации замечание Вандервельде, что у него завтра гонки, по-особому заинтересовало Дюнкерк. В ту ветреную ночь слова легко слетали с уст обоих собеседников; в игру вступили желания и волнующие намеки, и в сознании женщины все так переплелось с замечанием Вандервельде, которое он сделал безо всякого умысла, что оно вдруг приобрело судьбоносный оттенок и стало вроде немого соглашения: если завтра Вандервельде завоюет приз, то он завоюет и Лилиан Дюнкерк.

На следующий день после беспокойной ночи Вандервельде, преисполненный твердой решимости, отправился на своем автомобиле на весы. Он тщательно его осмотрел, завел для проверки мотор и потом усадил рядом с собой свою собаку. Как и многие другие искатели счастья, он был суеверен, как дикарь, и никогда не стал бы участвовать в гонках, не посадив рядом с собой любимую собаку.

Вандервельде стартовал двенадцатым. На первом круге он отстал, потому что у него было несколько мелких поломок. Потом он начал нагонять других и пробиваться вперед. Скоро он был уже девятым. Машина, шедшая перед ним,

потеряла управление на повороте, получила поломку поршневой группы, ее оттащили. Вскоре после этого у Вандервельде опять полетело колесо, и ему пришлось десять минут ехать до станции со спущенной задней шиной. Там он быстро поменял колесо и заправился. Потом поехал дальше.

Тем временем американец Эллан и итальянец Мар-тони обошли его на круг. Вандервельде лишь медленно догонял их, хотя мчался, как никогда. Он на полном ходу вошел в поворот, правда, машина встала почти поперек трассы, но тут же помчалась дальше. Вдруг он вырвался вперед и сел на хвост синему автомобилю Эллана. Теперь соревновались только три машины. Недалеко от трибун Вандервельде под аплодисменты зрителей обошел американца. Полчаса он держался вплотную за Мартони. Наступил последний круг. Все с невероятным напряжением ждали, удастся ли Вандервельде побить итальянца. Лилиан Дюнкерк в какой-то лихорадочной уверенности ожидала конца гонок.

Внезапно зажужжал мотор, все ринулись к барьерам, вытянули шеи, вскочили на сиденья, зрители неистовствовали: Вандервельде на страшной скорости шел впереди с большим отрывом.

Тысячи голосов слились в единый крик. За двести метров до цели из автомобиля Вандервельде выбился язык пламени, загорелся карбюратор. Публика застыла, затаив дыхание. В абсолютной тишине мчался Вандервельде на горящей машине к цели.

И тут произошло нечто неожиданное. Вероятно, при торопливой дозаправке немного бензина разлилось на кузове, и теперь языки пламени перекинулись туда. Это было не особенно опасно, и Вандервельде наверняка мог довести машину до финиша; но собаку рядом с ним, кажется, обожгли летящие в стороны искры, потому что она вдруг пронзительно завывала.

В следующее мгновение, когда победа была у него практически в руках, за пятьдесят метров до цели, Вандервельде остановился, выхватил собаку из машины и стал проверять, не случилось ли с ней чего серьезного. В тот же момент мимо промчался итальянец и первым оказался у финиша.

Вандервельде ни на что не обращал внимания. Он гладил свою собаку и равнодушно шел сквозь толпу, которая кинулась на него с вопросами. Люди качали головами, удивляясь его странному капризу: упустить победу из-за

жалобного воя собаки.

Лилиан Дюнкерк стояла, побледнев, перед Вандервельде. Они молча поехали в отель. Здесь Вандервельде сам перебинтовал собаку, у которой был лишь незначительный ожог. Он выпрямился и сказал:

– Ерунда, через несколько дней заживет. Я мог бы ехать дальше, но ведь я не знал – вдруг рана оказалась бы более тяжелой и мучительной.

В эту минуту Вандервельде завоевал Лилиан Дюнкерк. Если бы он победил, вероятно, она очень скоро оставила бы его, как и многих других. Но то, что страдания животного значили для него больше, чем желание обладать женщиной, что он не раздумывая пожертвовал ею ради обожженной лапы собаки, так потрясло Лилиан Дюнкерк, было таким непривычно новым в ее жизни, окружило образ Вандервельде в ее воображении таким ореолом человечности, показало, насколько он выше инстинктов, что, уже было потеряв Лилиан, Вандервельде вновь с удвоенной силой завоевал ее. По поспешному замечанию Мортон вы и сами можете судить, насколько она верна Вандервельде.

Я – скептик и не знаю, было ли поведение Вандервельде искренним и импульсивным, или то был чертовски точно рассчитанный трюк, пришедший ему в голову в последний момент, чтобы наверняка удержать Дюнкерк. Но в конечном счете это ведь все равно; потому что любовь – одна из самых странных вещей: даже если ты пользуешься обманом, чтобы завоевать ее, – она остается, пусть даже обман потом выйдет наружу.

1924

Межпланетный автомобиль [29 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Доктор Хуберт Дрешер, инженер, хотел сначала устроить вечеринку с пуншем в честь своего тридцативосьмилетия. Но так как зимний ветер бессовестно свистел и бился в окна, он решил сварить своим гостям настоящий крепкий грог.

Вскоре появилось соответствующее настроение, синий сигарный дым клубами поплыл по комнате, горячий напиток ударил в головы, гости произносили речи и тосты, в промежутках пили для разнообразия коньяк и бенедиктин, под конец даже откупорили бутылку шампанского, так что, когда после полуночи гости неторопливо и шумно начали прощаться, некоторые уже подозрительно опирались на своих соседей.

Доктор Дрешер проводил последнего гостя и со вздохом удовлетворения вернулся в приятно прогретую комнату. Он налил себе еще бокал грога и залпом опустошил его. Потом, довольный, уселся в мягкое кресло и собрался закурить сигарету.

Тут сквозняком задуло горящую спичку. Дверь рывком открылась, впустив зимнюю стужу. Доктор Дрешер обернулся, подумав, что кто-то из друзей решил остаться на ночь. Но в проеме двери стоял неизвестный.

Дрешер пристально изучал его. Незнакомец был в автомобильном костюме, даже еще не снял очки. Высоким голосом он спросил:

– Доктор Дрешер?

Хозяин дома утвердительно кивнул и поинтересовался:

– С кем имею честь?

Незнакомец неразборчиво пробормотал какое-то имя и сразу же пригласил своего визави на автомобильную прогулку, чтобы показать ему некоторые технические новинки. Доктор Дрешер был несколько обескуражен; приглашения прокатиться на автомобиле среди ночи, что ни говори, он получал нечасто. Но ведь, в конце концов, художники и изобретатели часто бывают чудаками, а для этого изобретателя – доктор почему-то решил, что незнакомец изобретатель, – полуночный визит, вероятно, был обычным делом. Кроме того, победило любопытство: что это ему собрался показать незнакомец? После короткого раздумья доктор Дрешер попросил его присесть и поспешил в соседнюю комнату, чтобы переодеться для поездки. Он слышал, как ему вслед крикнули:

– Оденьтесь потеплее, на улице похолодало!



Доктор быстро надел свой шерстяной свитер, выбрал самое плотное пальто и самые теплые перчатки. Потом он вышел вместе с незнакомцем на улицу и направился к гаражу, чтобы подготовить свой автомобиль. Но спутник положил руку ему на плечо:

- Оставьте... У меня здесь свой автомобиль.

А когда Дрешер начал перечислять преимущества и доказывать надежность своей машины, тот сказал с улыбкой:

- Для этой поездки годится только мой автомобиль, - и направился в сторону шоссе, где стояла машина.

Когда доктор Дрешер увидел автомобиль, он действительно удивился. И хотя машина выглядела вполне привычно, модель явно была разработана любителем обтекаемых форм; от этого, однако, автомобиль не казался неуклюжим. Радиатор был герметически закрыт тяжелыми шлифованными стеклянными плитами, необычно сверкающими и поблескивающими. Колес почти не было видно, настолько глубоко они были утоплены в корпус. Незнакомец сел в этот двухместный диковинный автомобиль и пригласил доктора Дрешера устроиться рядом. Потом нажал на какую-то кнопку на приборной доске. Тотчас стеклянная плита над радиатором вспыхнула фосфоресцирующим блеском. Внезапно доктор Дрешер заметил, что под ней находится разветвленная система стеклянных поршней, в которой переливались жидкости разных цветов: голубовато-зеленая и голубовато-красная. Автомобиль беззвучно вздрогнул и рванул вперед.

В ответ на вопросительный взгляд Дрешера незнакомец улыбнулся:

- Одно из давних изобретений для земного автомобиля. Здесь внизу еще не додумались извлекать электричество из воздуха. Мы создали совсем простое устройство. Вы же знаете, что со времени открытия атомарного принципа атом не рассматривается больше как последняя неделимая частица, он состоит из положительного и отрицательного или электрического и магнитного полей. Мы разделили эти поля, которые обычно находятся рядом, по принципу легочного осмоса и отделили электрическое. Этот маленький, величиной с ладонь, аппарат под стеклянной плитой вон там выполняет всю работу.

Справа и слева мимо них проносились заснеженные поля. Мелькали дома, деревья и столбы электропередачи, пролетали призрачные города, навстречу автомобилю промчалась, разрезая воздух, пурга из тысяч снежных кристаллов.

- Почему мы едем так быстро? - спросил доктор Дрешер.

- Быстро? - удивился незнакомец. - С чего вы взяли? Мы едем чрезвычайно медленно, потому что здесь из-за высокого сопротивления воздуха автомобиль может загореться. Вот когда мы достигнем эфира, тогда поедem быстро...

Доктор Дрешер потряс головой. Эфир? Земной автомобиль? Вероятно, его спутник все-таки был немного со странностями, хотя мотор необычного автомобиля вызывал изумление. Он спросил, сколько километров они делают в час.

- А, немного - всего лишь около тысячи двухсот. - Доктор Дрешер отшатнулся на своем сиденье. Его спутник кивнул, подтверждая свои слова. Дрешер посмотрел на свое пальто. Все оно было усеяно мелкими порезами из-за сильного сквозняка и несущихся навстречу льдинок.

Внезапно он услышал шум, который быстро усиливался и приближался. С холма было видно море, машина мчалась в его направлении.

- Ради бога, - он схватил своего спутника за руку, - мы же едем...

Но тот спокойно оправил рукав и нажал какой-то выключатель. Тотчас откуда-то снизу выползли стенки автомобиля, тоже из толстого шлифованного стекла и черной полированной алюминиевой стали. Они герметично сомкнулись и образовали стеклянный купол на распорках. Сразу стало тепло. Доктор Дрешер снял пальто.

- Еще одно преимущество нашей конструкции, - пояснил водитель. - Этой машине не нужны ни бензин, ни аккумулятор, а кроме того - в ней сразу становится тепло: когда поднимается верх, автоматически загораются лампы, встроенные в двойных стеклянных стенках. Потому что весь корпус - двойной, с герметичным промежуточным пространством, специальные вакуумные насосы разряжают в нем воздух, и создается безвоздушная среда, таким образом, в верхних слоях атмосферы и в эфире предотвращается разрушение стенок из-за

расширения воздуха в автомобиле. Кроме того, два катода, находящиеся впереди на радиаторе, обеспечивают вентиляцию, отсос и обновление воздуха, не нарушая герметичности внутренней части автомобиля.

Доктор Дрешер выглянул в окно. До него доносился глухой шум моря. Сейчас они неслись по длинному причалу, волны жадно вздымались с обеих сторон, Дрешер хотел было закричать, решив, что его спутник сошел с ума и собирается их угробить, но было уже поздно, он почувствовал, как автомобиль перелетел через ограду причала и рванул вверх, в пустоту.

В тот же момент незнакомец нажал две кнопки, послышался короткий щелчок, у них под ногами что-то глухо зазвенело, зашуршало – потом автомобиль плюхнулся в воду, и бурлящие волны сомкнулись над ним, они погружались...

Но что это? Доктор Дрешер прислушался. Эти размеренные звуки похожи на шум корабельного винта, автомобиль слегка покачивало, но он не устремлялся ко дну – он плыл.

Незнакомец улыбнулся:

– Все очень просто. При нажатии на эту кнопку колеса убираются в специальные углубления, которые сразу же герметически закрываются. Эта вторая кнопка за счет чувствительных трансмиссий переключает движение – здесь использованы результаты новейших исследований свойств селеновых клеток, – и автомобиль становится подводной лодкой. Разумеется, у нас есть с собой кислородные аппараты, вы даже не почувствуете разницы, нас будет обдувать чистейший лесной воздух.

Подводный автомобиль погружался все глубже, волны уже не раскачивали его. Он плавно несся вперед. За окнами стояла зеленовато-черная вода, словно они находились в водолазном колоколе. Время от времени мимо беззвучно проплывали рыбы. Стая дельфинов пыталась плыть рядом, то и дело окружая лодку. Белые тела отсвечивали серебром. Но уже через несколько секунд они остались в вихре за кормой.

– Если бы мы не спешили, – сказал водитель, – обязательно бы опустились на дно. И тогда матово светящиеся, фосфоресцирующие медузы, словно сказочные существа, поплыли бы мимо окон; удивительные глубоководные рыбы со

светящимися телами таинственно осветили бы пурпурно-зеленую тьму; в их мерцающем сиянии, переливаясь всеми красками, плыли бы гротескные чудовища, кузовки, разноцветные причудливые морские животные, а в морских водорослях стали бы орудовать каракатицы, крабы, морские коньки, двустворчатые моллюски, странные полипы, мерцающие морские анемоны и колючие актинии с их длинными щупальцами – вам показалось бы, что вы попали в волшебную страну. Но нам надо торопиться; видите, мы уже снова всплываем.

Лодку начало болтать, качка становилась все заметнее, в окнах заструилась белая пена волн, одно нажатие на кнопку – и лодка поплыла по воде. Еще один щелчок – и она поднялась над волнами.

– Сейчас мы плывем, как водный самолет, – объяснил незнакомец, – простым переключением полозья заменяются колесами. На одном валу расположены колеса, водные полозья и снежные полозья, которые по желанию можно менять. А вот этот рычажок выдвигает из верха автомобиля самолетные крылья, видите? И еще из радиатора выталкивается пропеллер. – Машина тут же начала жужжать и, несколько раз покачнувшись, поднялась вверх. На высоте ста метров она перелетела через пароход, команда которого стояла на освещенной лунной палубе и приветственно махала руками. Затем автолодкосамолет развернулся и на страшной скорости помчался дальше.

– То, что вы принимаете за стекло, – сказал незнакомец, – не ваше земное стекло. Оно иначе производится и тверже самой крепкой стали, потому что коэффициент преломления почти сведен к нулю благодаря изобретенной нами дивергенции направления эллипсообразных молекул, основанной на принципах разделения атомов.

От естественного тона его спутника доктору Дрешеру стало не по себе, у него закружилась голова. Он уже ничему не удивлялся. Даже тому, что самолет, приземлившись, тут же превратился в сани – колеса сменились снежными полозьями, а наклонное положение несущих плоскостей под определенным углом предотвращало подъем в воздух.

– Нас не интересуют защита от скольжения, цепи, обледеневшие улицы и тому подобные вещи, – продолжал водитель. – Мы превращаем автомобиль в аэросани, и никакие препятствия нашим автолодкосамолетосаниям не страшны.

Спустя некоторое время незнакомец потянул рычаг высоты. Самолет почти вертикально взмыл вверх. Доктор Дрешер поглядел на высотомер. Это было жутко. 4000, 6000, 8000 метров. Может, он сошел с ума?

- Теперь воздушный слой настолько разряжен, что несущие плоскости больше не несут, - сказал его спутник. - Можно запускать гаситель силы тяжести. - Он повернул какой-то рычажок. На мгновение показалось, что из маленьких пор, расположенных повсюду в стекле и в алюминиевой стали, начала разбрызгиваться вода. Окна обрели молочно-белый цвет, но сразу же снова стали прозрачными.

- Хорошее изобретение, - продолжал водитель. - Основывается также на атомарном принципе. Круг, по которому движутся электроны, нарушается и уничтожается, магнитный принцип снимается кислотой, которая поступает во все поры автомобиля. Одновременно колебания приобретают вертикальное направление и сила тяжести исчезает. Мы уже мчимся со скоростью звука сквозь эфир. Чтобы достичь действительно большой скорости, необходимо особое искусство: надо попасть в поле притяжения какой-нибудь планеты или звезды, снова вовремя включить силу тяжести и таким образом использовать силу притяжения небесного тела, если у него нужное направление. Пролетев с ним сколько надо, снова выключают силу тяжести с помощью эфирного спектрального мотора, который заводится благодаря разложению солнечного света на цвета радуги, тем самым придают аппарату новое направление и летят дальше. Видите, сейчас я включаю силу тяжести: нас сразу же притягивает Луна. Здесь нет сопротивления воздуха, так что невероятную скорость вы можете оценить по тому, как быстро к нам приближаются лунные кратеры... Так, теперь выключим, полетели дальше, к Марсу, пусть нас немного потянет Солнце, и - прямо.

Мы тоже устраиваем гонки. Как и у вас, чтобы победить, надо уметь делать крутые повороты, но у нас хороший гонщик должен знать еще и астрономию, чтобы правильно переключать силы тяжести, как у вас переключают стартер. Вот мы и приехали, Марс уже приветствует нас, вон президент, рядом с ним депутация марсианских девушек, которые собираются достойно встретить первого земного автомобилиста. Хотите в честь такого праздника сами проехать оставшийся отрезок пути? Это совсем просто, нажмите сначала эту кнопку, потом вон ту, даже ребенок справится. Пожалуйста!

У доктора Дрешера все смешалось в голове. Механически он подвинулся к панели управления, а его спутник уже сворачивал пальто. Он увидел перед собой ряд выключателей и наугад нажал на один из них. В следующее мгновение самолет что-то толкнуло, он накренился, перевернулся и стал стремительно приближаться к поверхности Марса, все время переворачиваясь, устремляясь со страшной скоростью к какой-то башне, все быстрее и быстрее, сейчас произойдет авария, крушение...

Доктор Дрешер потерял глаза. Разве только что не было грохота? Где он? Что случилось? Тут он обнаружил, что упал на пол вместе со стулом. Перед ним стоял наполовину пустой бокал грога. До него медленно начало доходить, что произошло. Он вовсе и не был на Марсе, он был дома, и ему приснился сон. Доктор Дрешер с трудом поднялся и по дороге в спальню, покачивая головой, пробормотал:

- Эх, алкоголь, алкоголь...

1924

Осенняя поездка мечтателя [30 - © Перевод. Е. Зись, 2011.]

Целый день конференции, но улицы, но становящиеся разноцветными липы и каштаны на асфальте и брусчатке, но – это уже просто невозможно вынести – это небо, это невероятно синее, ясное небо, натянувшееся и ломающееся о тротуары и крыши домов, – нам хочется видеть, как оно раскидывается куполом от горизонта до горизонта и как его кринолин покоится на краю света поверх лесов. Какое нам дело до концертов и театров, бери одеяла и шубы, выводи машину, жми девяносто километров, а когда разгонимся до ста двадцати, я подброшу в воздух кепку в честь того, что мы почти вырвались из города.

Ты видишь этот золотистый свет, струящийся над коричневой пашней, видишь, как он тянется вдоль дороги? Это – осенний свет, смотри, как он обтекает блестящие спины лошадей, плуг, крестьянина, будто бы тот несет осень на своих плечах. Даже деревья припудрены этим золотым светом, крестьяне

считают, что он придает яблокам аромат и свежесть, этот сон умирающего мира. А теперь тормози так, чтобы мотор заскрежетал, и – на волю, на волю – в поля, к новорожденной земле; прижми ладони к лицу, пусть порвутся и запачкаются чулки, потом я куплю тебе сотню новых – только вдыхай, вдыхай, вдыхай аромат этой свежевспаханной земли, закрой глаза и дыши, дыши; ах, как же я завидую слепому кроту, который проводит в ней всю свою жизнь!

Ты нашла личинку майского жука? Скорей подбрось ее в воздух, может быть, она превратится в бабочку и улетит; в таком воздухе возможны всякие чудеса; посмотри, я и сам посвежел и расцвел, этакий Пан в плотной габардиновой куртке от «Континенталь» и бриджах. Но нет, нас уже поджидают грачи, поблескивая стальным оперением, идем похороним личинку, спасем ее, это же настоящая мистика. Разве тебя не пронизывает дрожь от ощущения, что ты творец? Сделай ямку и положи ее туда, ты спасла от остроклювой смерти жизнь, на следующий год майский жук трогательно прожужжит тебе в благодарность. Не смейся, майский жук – это очень красиво, ты когда-нибудь разглядывала его мохнатые лапки и коричневую визитку?

Посмотри на этот луг, произнеси, почувствуй само слово «луг», какая ширь и простор заключены в нем; оно все окутано серебристой дымкой свежести. А деревья – на некоторых еще целы все листья, совсем зеленые, только в нескольких местах видны четкие сернисто-желтые пятна, странно выделяющиеся на общем фоне, словно первые признаки туберкулеза.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

© Перевод. Е. Зись, 2011.

2

Югендвер – молодежная военизированная организация в Германии начала XX в. – Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примеч. пер.

3

© Перевод. Е. Зись, 2011.

4

© Перевод. Е. Зись, 2011.

5

© Перевод. Е. Зись, 2011.

6

© Перевод. Е. Зись, 2011.



7

Писано с душевной скорбью в память о ее светлости давно почившей графине Манон (фр.).

8

© Перевод. Е. Зись, 2011.

9

© Перевод. Е. Зись, 2011.

10

© Перевод. Е. Зись, 2011.

11

Так в оригинале. – Примеч. ред.

12

© Перевод. Е. Зись, 2011.

13

© Перевод. Е. Зись, 2011.

14

Конфуций.

15

Лао-цзы – автор древнекитайского трактата «Лао-цзы», канонического сочинения даосизма.

16

© Перевод. Е. Зись, 2011.

17

© Перевод. Е. Зись, 2011.

18

Пищевые консервы у североамериканских индейцев, например, вяленое мясо.

19

© Перевод. Е. Зись, 2011.

20

© Перевод. Е. Зись, 2011.

21

© Перевод. Е. Зись, 2011.

22

© Перевод. Е. Михелевич, наследники, 2011.

23

© Перевод. Е. Зись, 2011.

24

© Перевод. Е. Зись, 2011.

25

© Перевод. Е. Зись, 2011.

26

Бой, еще виски! (англ.)

27

Карнавальное гулянье.

28

Здесь: романы (фр.).

29

© Перевод. Е. Зись, 2011.

30

© Перевод. Е. Зись, 2011.

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/remark\\_erih-mariya/ot-poludnya-do-polunochi](https://tellnovel.com/ru/remark_erih-mariya/ot-poludnya-do-polunochi)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)